

Леонид Радугин

НА ВСЮ ЖИЗНЬ





ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“



1p.17к.

1870

1970

ЛЕНИН
ЛЕНИН
1960
LENINS
ЛЕНИН
LENINAS
LENIN

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ЛЕНИНГРАД

1 9 7 0



Леонид Радигин

Н А В С Ю
Ж И З Н Ъ

РИСУНКИ Ю. ЛАВРУХИНА



ВПЕЧАТЛЕНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Директор вошел в класс вместе с учителем математики, поздоровался с учениками и спросил, что задано на сегодняшний урок. Голос у него был спокойный, негромкий, а букву «эр» он произносил мягко картавя, так что получалось «здгавствуйте», «угок».

Всем ученикам — начиная от малыша-первоклассника — было известно, что директора зовут Илья Николаевич, что каждого из них он знает по имени и фамилии, что, вызывая к доске, он не придирается, а даже сам задает «наводящие вопросы», что он любит пошутить. И все-таки, когда он взял со стола классный журнал, за партами стало необычайно тихо — ни вздоха, ни скрипа, ни шороха...

— Зайцев Иван!

Зайцев Иван торопливо одернул рубашку, поправил съехавший ремешок, пригладил вихры и направился к доске. Доска была чистая, но он старательно вытер ее тряпкой, взял в руку мелок и бойко взглянул на директора. Директор тоже посмотрел на него, улыбаясь глазами, как бы спрашивая: «Ну, как живем, Зайцев Иван?!»

Можно было считать, что они старые знакомые. Более того, Зайцев Иван был своего рода «крестником» директора Ильи Николаевича. Сейчас за окнами надсадно кричали грачи, трещал лед на Волге, а в тот день, когда Ваня Зайцев пришел в Симбирск, была глубокая осень.

Он шел долго по бездорожью, обходя ямские станции и деревушки, осевшие в непролазной грязи (вот из такой он и убежал), ночуя в мокрых стогах, а над головой все время висело плоское, серое небо, похожее на грифельную доску. Достояние свое он нес под мышкой — краюшка хлеба и тетрадь, испсанная вдоль и поперек, были завернуты в старенькое полотенце с чувашскими вышивками.

В городе Симбирске все оказалось так, как рассказывали, — по улицам ездили кареты, на колыбельные вызванивали часы особенным звоном. Была

школа, недавно открытая, куда принимали чувашей, татар, мордовцев, башкир, калмыков и прочих инородцев, как они именовались в Российской империи.

Но Зайцев опоздал. Занятия в школе начались, классы были заполнены. От ужасного горя он точно ослеп и онемел: ведь он убежал от отца, чтобы учиться — и теперь все пропало. Только один человек на свете, сказали ему, может помочь: директор народных училищ.

Школьный сторож, словоохотливый старик с солдатскими медалями, подробно ему объяснил, что директор не просто так себе человек, а действительный статский советник. И если этот чин соразмерить с военным, то выходит, что он генерал, ваше превосходительство. Ваня Зайцев совсем помертвел: эти чины он не только не мог бы выговорить, но даже запомнить. Сторож, увидев, какое действие произвели его слова, стал подбадривать мальчика:

— А ты не бойся! Они, Илья Николаевич, совсем простые, как я и ты. И удача тебе, что они нынче в городе, а то больше ездят по губернии. . . Сегодня как раз придут сюда. . . Ты посиди тут в сторонке, обожди. . .

То, что директор оказался в городе, было действительно редкой удачей. Но самая большая удача была в том, что он, как видно, и знать не хотел, что если его чин соразмерить с военным, то выходит, что он генерал. Когда он слушал маленького заикающегося просителя и просматривал тетрадку, глаза у него улыбались.

— Хорошо, голубчик, я тебя зачислю, но придется тебе нагонять! Сможешь?!

Зайцев смотрел на этого невысокого, худоща-

вого человека в форменном сюртуке, точно на солнце — часто моргая. Такого. перехода от безнадёжности и отчаяния к ослепительному счастью он еще не испытывал за свою коротенькую жизнь и, удивляясь собственной храбрости, ответил, что он старательный, догонит. . .

И вот теперь, стоя у доски, он не только решал задачу с купцом, который купил сорок гарнцев овса, но еще и доказывал директору, что он, Ваня Зайцев, человек серьезный и не бросает, как говорится, слов на ветер. Только в одном месте он чуть споткнулся, и не оттого, что плохо знал, а позабыл присчитать к прибыли купца десять копеек.

— А где ты потерял гривенник?— спросил Илья Николаевич. Оплешность была тут же исправлена, и задача решена успешно.

— Хорошо! — сказал директор. — Садись!

Зайцев вытер руки и отправился на свое место. Нос у него блестел, глаза блестели. Теперь можно было спокойно послушать, как спрашивают других. Директор вызвал еще одного ученика, потом попросил учителя продолжать урок, а сам присел на задней парте, рядом с двумя белобрысыми мальчишками, похожими друг на друга, как родные братья. Зайцев видел, как у них вспыхнули уши от гордости, и позавидовал им. Он все время поворачивался и украдкой поглядывал на директора, который внимательно слушал объяснения учителя.

* * *

Последним уроком был русский язык. Преподавал его Василий Андреевич Калашников, но среди учеников его именовали попросту «Васей», ввиду его

крайней молодости. Свой предмет он излагал с жаром, лицо у него часто вспыхивало, и от этого еще заметнее становился юношеский пушок на щеках и подбородке.

Заложив руки за спину, солидно прохаживаясь, Василий Андреевич заговорил:

— Вот мы прожили с вами сегодняшний день! Каждый из вас что-то делал, что-то наблюдал, о чем-то думал. Следовательно, у вас сложились какие-то впечатления от сегодняшнего дня. Не так ли? Может быть, что-то произвело на вас наиболее сильное впечатление. Вот это и должно послужить материалом для классного сочинения, которое будет вам задано, его назовем так: «Впечатление сегодняшнего дня». . . Можете писать о любом факте или случае из вашей школьной жизни. . .

Он взял мелок и отчетливо написал на доске: «Впечатление сегодняшнего дня».

Сначала в классе слышалось сдержанное гудение, шелестела бумага, скрипели парты, потом шум стал стихать. Только иногда раздавался тяжелый вздох, неясное бормотанье — начались муки творчества. Кто-то громко фыркнул — вспомнил, наверно, что-нибудь смешное. Некоторые сидели в задумчивости, другие уже строчили вовсю. Среди этих был и Ваня Зайцев. Он не раздумывал долго. Впечатление сегодняшнего дня сразу же отчетливо всплыло в памяти, потому что он был полон им все время.

«... Сегодня в девять часов утра на урок математики к нам пришел господин директор Илья Николаевич. . .» — так начал он свое сочинение. Далее излагались события утреннего урока: вот директор

вызвал его к доске, продиктовал задачу из учебника. Маленькая заминка с десятью копейками. Илья Николаевич спросил, куда потерялся гривенник, и у него вышло так: «ггивенник».

«... Это врезалось мне в голову, — усердно писал Зайцев, — и заставило думать: я ученик и то умею правильно произнести звук «р», а он директор, такой большой и ученый человек не умеет произносить букву «р» и говорит «гг». . .»

Добавив еще кое-какие подробности, Зайцев перечитал написанное. В деревне приходилось писать огрызком карандаша, на чем попало и где попало: и в поле, и в лесу, и дома, прячась в сарайчике, где и летом было полутемно. Этой зимой он приналег на чистописание. Буквы уже не слипались одна с другой, строчки шли ровнее. Сегодня он был доволен и своим почерком, и сочинением и одним из первых отдал его классному дежурному.

* * *

Раздача сочинений всегда была волнующим событием. Каждому было жгуче интересно поскорее взглянуть на отметку. Когда Василий Андреевич входил в класс с пачкою тетрадей, ему стоило немалого труда сохранять невозмутимо-серьезный вид под нетерпеливыми взглядами.

На этот раз было видно, что он чем-то недоволен, даже сердит. Он хмуро следил, как дежурный раздает тетрадки, потом спросил:

— Все получили?

— Я не получил, Василий Андреевич! — сказал Зайцев, поднимаясь.

Некоторое время учитель смотрел на него в упор, потом схватил со стола тетрадь, размахнулся и бросил Зайцеву в лицо.

— Свинья! — сказал он, тяжело дыша. — Свинья ты!

Зайцев остался стоять неподвижно, вытянув руки по швам, как солдат. Его маленькое скуластое лицо окаменело. Кто-то поднял с полу раскрытую тетрадку и положил к нему на парту. Со всех сторон потянулись любопытные, заглядывали с боков, сзади, через плечо.

Произошло что-то непоправимо ужасное, но что? Этого Ваня Зайцев не мог понять, щеки и губы у него задержались, слезы подступили к горлу. Еще не бывало такого, чтобы Вася швырялся тетрадями. Никому он не перечеркивал страниц сверху донизу, не ставил таких отметок.

— По местам! — строго сказал учитель.

Все отхлынули от Зайцева. Он тоже сел. Перед глазами лежало его сочинение, перечеркнутое косым красным крестом, жирно, с нажимом. В уголке страницы был начертан большой, круглый, зловещий нуль, похожий на свиный глаз, и рядом четкая подпись учителя: «В. Калашников».

И в эту минуту в класс вошел директор Илья Николаевич.

— Садитесь! — сказал он своим спокойным, ровным голосом и, как всегда, спросил учителя, что сегодня проходят. Узнав, что розданы сочинения с прошлого урока, он стал прохаживаться вдоль парт, смотрел отметки. Иногда он говорил: «Ай, ай, как же это ты?» Или: «Вот видишь, оказывается, ты отличился!»

Зайцев опустил голову еще ниже. Илья Николаевич поравнялся с его партою:

— А как преуспел Зайцев Иван?

Небольшая смуглая рука взяла с парты тетрадь. В классе наступила такая тишина, что, кажется, зазвени у соседа в ухе, и всем будет слышно. Директор читал, и все увидели, что он улыбается.

— Василий Андреевич! За что же это вы наградили мальчика орденом красного креста и огромнейшей картошкой?! Что тут такое? Грамматические ошибки? Изложение?

Учитель медленно подошел к нему.

— Скажите, Василий Андреевич, как называлась тема сочинения?

— «Впечатление сегодняшнего дня», — глухо ответил Калашников.

— По-моему, здесь и рассказано об этом, — живо отозвался Илья Николаевич.

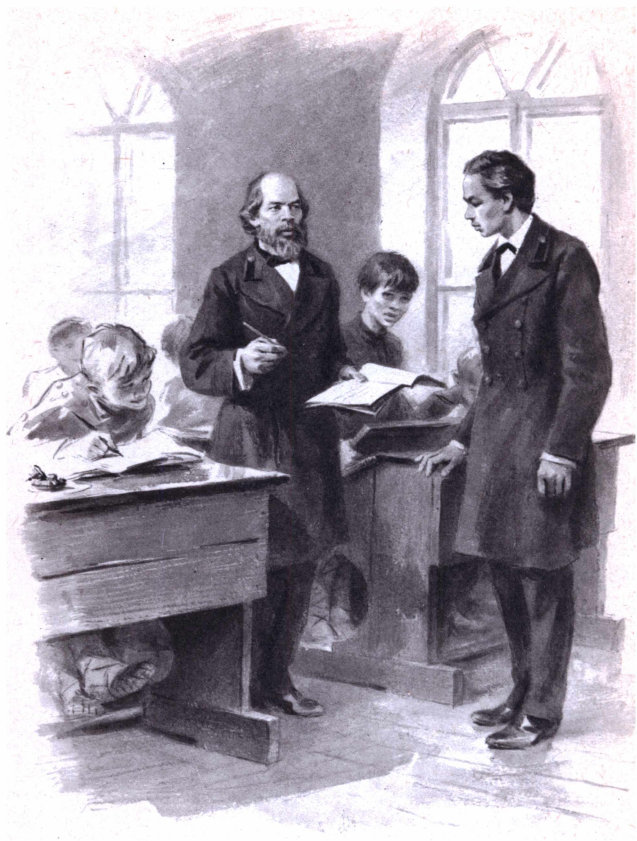
— Да, но это... впечатление, — Калашников мучительно подыскивал выражение. — Я даже не знаю... как его назвать...

— Вы находите в нем что-то дурное?

— Я считаю... мне кажется... — с натугой заговорил Калашников. — Во всяком случае... я считаю его неудобным... даже недопустимым... Здесь допущено неуважение... к начальствующим лицам, которые...

Директор не дал ему договорить:

— Простите, Василий Андреевич, не могу согласиться с вами! Мальчик написал о том, что произвело на него впечатление в тот день. И что самое важное, — директор с особым ударением произнес эти слова, — написал искренно! Нет здесь ничего



искусственного, выдуманного. Грамматически оно правильно, последовательно и вполне соответствует заданной теме. Это одно из лучших сочинений...

Он взял ручку с парты, аккуратно обмакнул ее в чернильницу и написал: «Отлично. И. Ульянов».

— Надеюсь, Василий Андреевич, вы не опростуете мою оценку? Право же, сочинение вполне ее заслуживает!

Учитель стоял перед директором потупясь, похожий на ученика, внезапно вызванного к доске. Вот оно, впечатление сегодняшнего дня, после которого уже нельзя жить так, как жил раньше. Он получил урок по тому предмету, который не преподается ни в каких учебных заведениях. Урок был дан мягко, не оцарапал душу, но как он перевернул ее! . .

* * *

Удивительно сложилась дальше судьба Василия Андреевича Калашникова. Ему выпало счастье быть домашним учителем в семье Ульяновых, и уже совсем в другую эпоху он рассказывал об уроке, который получил в далекой молодости от отца Владимира Ильича Ленина.

Ваня Зайцев тоже стал учителем. И чуть ли не полвека спустя в письме к Надежде Константиновне Крупской он с необыкновенной яркостью вспомнил об «ордене красного креста и огромнейшей картошке».



РЕКА И ПЕСНЯ

Долго до полудня пастушок Бахавий пригнал ко-
кушкинское стадо на водопой. Коровы медленно
спустились к воде. Только пестрый бычок поска-
кал вдруг в сторону, смешно вскидывая ноги.

— Э, ке-мачик! — строго прикрикнул на него
Бахавий.

Бычок остановился, постоял, точно раздумывая, слушаться или нет, и тоже побрел вниз по берегу.

У водопоя росла старая ива, согнувшись над водой в нижайшем поклоне. Бахавий уселся под ней, положил рядом изукрашенную резьбой дудку. От реки тянуло прохладой, но чувствовалось, что день будет жаркий, без ветра, без облачка.

Пастушонок засмотрелся на голубую воду. По ней скользили прозрачные, почти незаметные тени. Откуда они берутся под этим чистым ясным небом?

Сверху, с дороги, посыпались мелкие камушки. Бахавий обернулся, вскочил. По крутому берегу, перехватывая руками кусты, быстро спускался невысокий, коренастый мальчик в гимназической рубашке со светлыми пуговицами. Его густые рыжеватые волосы мокро блестели на солнце.

— Здравствуй, Бахавий! — крикнул он, подбегая к пастушонку.

Тот как-то неловко, застенчиво пожал протянутую руку. Маленькое темное скуластое лицо его морщилось от удовольствия.

— Сказал, Володий, рано придешь, — рано пришел. Я тоже рано пришел. Тебя ждал. Ты уже речке купался?

Пастушонок точно выпевал слова, ставил ударения на свой лад, а имя Володя звучало у него так: Володий.

— Как проснулся, сразу через окошко — и бегом в Ушню, а то братцы увяжутся, — широко улыбнулся Володя. — Знаешь, вода совсем теплая. . . Я сегодня еще раз пять буду купаться, а то и семь, — азартно добавил он и сел на траву. — Ого, какая у тебя дудка! Это что, новая?

— Новая хавал сделал! — ответил пастушонок как будто небрежно, но его черные глазки, похожие на спелые арбузные семечки, так и поблескивали.

Ему было приятно, что Володий заметил его новую дуду.

Долго пришлось искать для нее хороший ствол бузины, ножичком вырезать вязь.

Теперь дуда разговаривает на разные голоса: вот кричит иволга на заре, булькает ручей, скрипит дерево на ветру, рассыпается трелью жаворонок. И кажется, что немудрящая эта дудка сделана не руками, а так вот и выросла в лесу, впитав все его звуки.

— Удивительно хорошо у тебя выходит, — говорит Володя, разглядывая вырезанные на дуде узоры, — волшебная свирель! А песню споешь мне сегодня?

Пастушонок садится по-восточному, поджав под себя босые ноги. Его скуластое бронзово-смуглое лицо становится строже и старше. Некоторое время он сидит молча, неподвижно, похожий на какого-то азиатского божка.

Песня начинается с длинной, гортанно звучащей ноты. Бахавий тянет ее, не разжимая губ, покачиваясь, крепко сжав темные веки. Володя смотрит на него не отрываясь. Что-то древнее-древнее слышится в этом тягучем мотиве, и перед глазами возникает желтая ковыльная степь, приземистые курганы, всадники на низкорослых татарских лошадках...

Потом в мелодию начинают вплетаться глухо звенящие слова; кажется, кто-то пересыпает в руках старые, истершиеся монеты. Слова непонятны

Володе, но так слышна в них чья-то жалоба,
чья-то печаль...

Сар'ы, сар'ы, сапсар'ы
Сар'ы, чеч'ек саплар'ы.
Сугын'ырсын сайргарс'ын,
Килс'э суг'ыш саплар'ы.

Песня допета. Бахавий открывает глаза; они уже опять веселые. Сейчас Володий начнет выпрашивать, выпытывать, что означает каждое слово в песне, будет терпеливо прикладывать их одно к другому, а для пастушонка это нелегкое дело. Он умеет говорить по-русски, а думает и поет по-татарски; не всегда приходит в голову нужное русское слово...

— Постой-ка, постой-ка! — говорит Володя. — «Сары» — это желтые, а что такое «Сапсары»? — он крепко трет ладонью крутой лоб. — Ага, понял! «Сапсары» — это «очень желтые»! .. Посмотрим, что у нас с тобою вышло...

Желтые, желтые, очень желтые
Желтые ветки цветов.
Истоскуешься, пожелтеешь,
Когда наступят дни войны...

Так, одно за другим, раскрываются слова, и вот уже вся песня лежит, как на ладони. В ней рассказывается, как жил в деревне мальчик, кечкенэ, был подпаском, а когда подрос — стал работать батраком у бая.

Подошел срок, забрали его в солдаты. У царя Николая долгая служба — чуть ли не вся жизнь пройдет. И разве обходится без войны хоть одно царствование? И никто не знает — ни солдат, ни его близкие — увидятся они снова когда-нибудь...



Володя задумывается. Не о себе ли пел пастушок Бахавий, не о своей ли недалекой судьбе? А тот захлопал в ладоши, завертелся на месте, завел другую песню — веселую, озорную.

Замесила хозяйка камыр, хотела печь беляши. Вышла ненадолго на огород, а когда вернулась — пропал горшок с тестом, нигде не найти. Шайтан схватил, что ли? Уже собралась слезы лить, а тут заходит сосед и смеется. Оказывается, это он пошутил. Заглянул в избу — никого нету. Взял и спрятал горшок.

Хорошо, когда все кончается хорошо, хорошо, когда плохое только шутка...

— Стадо-то чего пригнал этукую рань? — слышится вдруг сердитый возглас. Голос какой-то ржавый, скрипучий, точно подымается полное ведро колодезным журавлем.

К мальчикам, сидящим под ивою, тяжело переставляя ноги, приближается очень худой и очень высокий человек в болтающемся балахоне из деревенского рядна. На голове у него самодельная войлочная шляпа грибом, сбоку, на широкой лямке, — холщовая сумá.

Бахавий подпрыгивает. Володя, приподнявшись, говорит вежливо:

— Здравствуйте, дядя Антон!

Медленно, точно складываясь по частям, пастух садится на пригорке.

— Чего стадо пригнал, спрашиваю? Вон еще сколько до полудня! Время не знаешь?

— Дядя Антон, — примирительно говорит Володя, — откуда Бахавию знать время? У него же часов нет!

— Эко заминка вышла! — скрипит пастух. — Отмерил четверо лаптей и узнал!

— Как это — четверо лаптей? Объясните, дядя Антон?

— По-вашему, по-городскому — ступня, а по-нашему, по-простецки — лапоть. Надобно узнать тебе время — становись под солнышко и меряй тень! Ежели пала она четверо лаптей длины — это, считай по нынешнему месяцу, и есть полдень... Учил я его, а все не возьмет в толк.

— А вы знаете, дядя Антон, ведь пастухи были самыми первыми астрономами на земле! — оживленно сообщает Володя. — Они еще тысячи лет назад придумали такой инструмент, чтобы измерять время по солнечной тени. Обыкновенная палочка. Называлась она гномон!

Бахавий сидит в сторонке. Черные глазки поблещивают, губы шевелятся, повторяя незнакомое, звучное слово: «Гномон, гномон...»

Слушает и дядя Антон, положив руки на высоко поднятые острые колени.

— Это верно, — выдавливают он натужно. — Пасти стадо — это есть дело мирное, угодное богу... без греха, без обиды... И ведется оно от сотворения мира... — Он замолкает, повесив голову. Лицо его, бурое от загара, от ветра, от непогод, кажется измученным, красные веки закрываются сами собой.

— Ходил нынче в Кодыли... ни свет ни заря поднялся... Надо деньги получить за пастьбу. Хожу пятый раз — и все нету. А у меня табаку ни щепотки, весь вынюхал... Надо бы сахарку взять, цикорию...

Володя внимательно глядит на него.

— А вы, дядя Антон, здесь будете или погоните стадо?

— Чего ж теперь его гнать? — бормочет пастух, борясь с одолевающей его дремой. — Теперь уж с полудня погоним. . .

Голова его медленно опускается, шляпа-гриб сползает на брови. Володя говорит Бахавию тихонько:

— Я еще приду. Мне надо домой сбегать.

Пастушонок глядит, как он ловко взбирается по крутому подъему, как шагает по дороге, размахивая руками. Просохшие волосы развеваются от быстрой ходьбы. Потом он исчезает за поворотом, но Бахавий как бы продолжает его видеть. Он шаг за шагом знает дорогу, которой пойдет Володий.

Вот он уже у плотины, вот перешел через Ушню. На другой стороне, где кусты и деревья точно карабкаются наверх, хорошо видна деревенька Кокушкино: мельница, избы, крытые соломой, среди них — дом под крышей, а рядом с ним — три рослых березы. В этом доме и живет Володий, когда приезжает на лето из Симбирска. . .

А солнце подымается все выше, льет густой жар. Оно похоже сейчас на раскаленный, просвечивающий насквозь медный таз, в котором варят варенье. Небо побледнело, как будто выцвело по краям. Нагретый воздух неподвижен. Дремотно позвякивают коровьи колокольцы. Пестрый бычок, широко расставив ноги, неподвижно стоит на мелком месте. Кажется, что и голубая вода в Ушне никуда больше не течет и само время остановилось. Сколько его прошло — мало ли, много ли, — кто знает? . .

Хрустит песок наверху, сыплются камушки. О, Володий уже вернулся! Светлые пуговички на воротнике расстегнуты. Жарко.

Ухмыляясь, Бахавий показывает на пастуха: как спит крепко, даже всхрапывает! А Володя вдруг подходит к нему, говорит негромко, но отчетливо:

— Дядя Антон, а дядя Антон!

— А?.. Который? — вскидывается пастух. Голос у него совсем проржавел со сна, скрипит сухо.

Бахавий застывает в изумлении: зачем Володий разбудил его?

Вынув руку из кармана, Володя протягивает ее вверх ладонью.

— Дядя Антон, вы говорили, что у вас нет табаку... и сахару. Вот, купите, пожалуйста.

На ладони блестит новенькая серебряная монета.

Пастух сразу стряхивает с себя сон, садится прямо:

— Что ты, что ты, баринок, спрячь! Неровен час, еще потеряешь! — в голосе его слышится испуг. — Это же рупь, деньги немалые. Потеряешь, отец с матерью будут ругать.

У Володи чуть сдвигаются брови:

— Отец с матерью ругать не будут. Они сами разрешили мне истратить, как я хочу. Вы возьмите, дядя Антон, вам же нужно.

Дядя Антон долго поправляет съехавшую набок шляпу.

— В долг ежели... тогда пожалуй...

— Ну конечно, в долг!

Осторожно взяв монету, пастух заворачивает ее в тряпицу.

— На воскресенье с ночи пойду в Кодыли, — бормочет он, расстегивая суму. — Уж они у меня праздником не попользуются. Не отступлюсь, покуда не отдадут. За свои-то деньги да обивать порог... А ты, стало быть, приходи после воскресенья, сочтемся, чтобы, значит, душа была спокойная... Тебе спасибо, баринок, выручил...

— Какой же я баринок? — огорченно говорит Володя. — Вы же, дядя Антон, знаете, как меня зовут.

— Зовут тебя Володимир, как же не знать. Имя это старинное, христианское. От святого князя Володимира...

Дядя Антон заметно оживился. Достав из балахона берестяную коробочку, он сыпает на руку остатки табачной пыли, нюхает, чихает.

— Будьте здоровы, бычки и коровы, и вы, телочки, не хворайте! — бодро говорит он и, поглядев на небо, командует своему помощнику: — Подымай стадо!

Пастушонок прикладывает дуду к губам, вскидывает голову, как заправский трубач перед полком.

Услышав знакомые звуки, коровы сонно поворачиваются, побрякивают колокольцами. Вскоре все стадо выбирается на дорогу.

Володя идет рядом с пастушонком. Отсюда, с высокого берега, видно далеко вокруг. По обе стороны реки, точно подымаясь к горизонту, тянутся необозримые поля — то густо-зеленые, то с желтоватым отливом, а то почти лиловые. И кажется, что никогда не насытится, никогда не устанет глаз любоваться этим привольем.



С Л О В О

Володя занимался у себя в комнате на антресолях, когда Мария Александровна постучала к нему.

Всегда приятно войти в эту комнату. Тут все неизменно на своем месте — в любое время. Нигде ни пылинки, ни соринки.

Со стороны можно подумать, что здешний

обитатель весьма благонаправный мальчик, тихоня и педант, но если вспомнить, какой он на самом деле,— невольно хочется улыбнуться: ведь это сама живость, подвижность, озорная выдумка...

Вот он сидит рядом, такой понятный, близкий, и все-таки нелегко начать этот разговор. Нелегко, но нужно.

— Володюшка, я хочу узнать от тебя самого, правда ли, что ты куришь?

Мария Александровна видела, как напряглось у него лицо. Чуть помедлив, он ответил:

— По-настоящему — нет...

— А не по-настоящему?

— Покуриваю...

— Ну что же, Володюшка, — медленно, точно думая вслух, заговорила Мария Александровна, — если ты решил курить, я запрещать тебе не могу, хотя ты еще слишком юн для этого. Запрещение — плохое средство. Но то, что ты начал курить, для нас не безразлично, нет! У тебя такая хорошая, ясная голова, и ты будешь ее одурманивать изо дня в день, — в голосе Марии Александровны слышалось плохо сдерживаемое волнение. — Я не собираюсь рассказывать тебе о вреде курения. Ты слышал, читал об этом. Это не выдумки взрослых, чтобы пугать ими детей. Ты можешь нанести себе урон непоправимый... Но уж так повелось, — с горечью добавила Мария Александровна, — все знают об этом и все-таки начинают курить. Привыкают, а потом уже поздно. Поймешь ли ты это? — Она испытующе посмотрела на сына. — И вот, что еще хочу сказать тебе: наша семья большая, мы все живем на пенсию отца. В сущности, ты не должен позволять себе



никаких лишних трат, например на те же папиросы... Если уж ты решил курить, то обожди, когда станешь взрослым, самостоятельным человеком... Вот это я и хотела сказать тебе, сын...

Она прикрыла пальцами веки, точно давая себе коротенький отдых (Володя унаследовал от нее этот жест). Он сидел за столом в прежней позе, наклонив крутой лоб, чуть нахмутив широкие брови.

Мария Александровна отняла пальцы от глаз:

— Я пойду, Володюшка. Не буду мешать тебе заниматься.

Он тоже встал, подошел ближе и сказал, глядя ей в глаза:

— Обещаю тебе, мамочка, что курить не буду...

* * *

Годы спустя, вспоминая об этом случае, Мария Александровна рассказывала, что немного схитрила тогда. Указывая Володе на недопустимость лишних трат, она, конечно, не опасалась, что расход на папиросы окажется столь уж обременительным.

Нет, не о расходах думала тогда Мария Александровна. Она знала, что для Володи этот довод явится самым сильным, самым убеждающим. Она хорошо знала, какой надо коснуться струнки. Ее дети всегда были настороже, они сами соразмеряли свои желания с тем, что было семье под силу.

Вот старшие — Аня и Саша. Отец предложил им поехать в Москву с ним вместе — ему нужно по делу, а для них это будет интересная прогулка. Ведь они еще не ездили по железной дороге, белокаменную видели только на картинках.

Предложение было волнующе-заманчивым, да и время как раз подходящее — летние каникулы. Однако Аня и Саша ответили отцу так: «Скоро мы поедем учиться в Петербург, это обойдется недешево, а свой заработок появится еще нескоро. Значит, сейчас нельзя допускать лишние, необязательные траты...»

Илья Николаевич уверял их, что у него все уже рассчитано наперед, в том числе и эта поездка, но Аня и Саша остались непреклонны.

Таковыми же растут и Володя с Олей. Таковыми вырастут и Митя с Машенькой.

Мария Александровна не сомневалась в этом.

* * *

Многое помнил старый егерь, которому доводилось сопровождать Ленина в лесных прогулках.

Помнил он и такое: как-то, найдя досье, устроили они с Владимиром Ильичем привал у костра. Егерь свернул «охотничью» — толщиной с палец, — прикурил от уголька. И тут одолел его приступ долгого, натужного кашля.

— Зелье оно, табак, — прохрипел он, отдышавшись. — Вот здесь душит. Не дает свободного дыхания. Хорошо сделали, что остереглись от него, Владимир Ильич...

— Может быть, и не остерегся бы, — ответил Ленин, задумчиво глядя на огонь. — Это меня мама остерегла. (Он так и сказал — «мама».) Когда учился в гимназии, чуть было не начал, а потом дал ей слово, что брошу. И с той поры никогда уже больше не курил!



ГРЕБИ ВПЕРЕД

В жаркие дни купец любил почаевничать прямо на пристани, в холодке, поглядывая вокруг хозяйским глазом. Здесь у него было местечко под навесом, стоял столик, уютно пытел самовар, сиял бело-бокий чайник. В нескольких шагах, степенно, не торопясь текла Волга, поблескивая солнечными чешуйками.

И сегодня, как водится, пребывал он в своем излюбленном уголке. Мальчишка поставил перед ним начищенный до яростного блеска самовар. Пристань чуть покачивалась, доски поскрипывали. У причала пускал пары пароходик с косою трубой. На барже хлопотали босые матросы и медленно собирались пассажиры, разомлевшие от жары.

— Слышь, хозяин?! — Матрос с закатанными штанами остановился возле стола. — Сейчас иду мимо лодок, а там один подряжается, чтоб перевезли. «Я спешу, — говорит, — мне некогда дожидаться баржи!» Те мнутя, а он им свое: «Дескать, не имеет такого права запрещать перевоз... Река, мол, не принадлежащая...»

Не оборачиваясь, купец лениво спросил:

— Все? .. Ступай, куда шел! ..

Ниже по берегу, там, где стояли просмоленные дочерна лодки, какой-то человек, совсем еще молодой, в легкой светлой рубашке настойчиво говорил седоусому волгарю с глубокими, точно высеченными морщинами:

— Да поймите вы, что никто не может запрещать вам перевозить людей! Не существует такого закона... даже у нас!

— Нам тут, господин, не разобратся, — ответил седоусый. — Он есть арендатель, кладет денежки городу в карман. Вот и весь закон.

Молодой человек нетерпеливо сдвинул брови.

— То, что он арендует перевоз, это его дело, но запрещать перевозить другим, я повторяю, он не имеет ни малейшего права! У вас есть все основания подать на него в суд!

Седоусый плюнул на истлевшую сигарку, но не

бросил окурка в воду (надо уважать Волгу-матушку), а затоптал его в песок.

— У него мощна тугая, купит и судью! С сильным не борись, с богатым не судись!

— Неверно! — упрямо ответил молодой человек. — Он вас просто запугал. Самоуправство здесь налицо, не нуждается в доказательстве! Если вы подадите в суд, его вынуждены будут наказать!

Махнув рукой, седоусый ничего не ответил. Второй лодочник, в обтрепанном картузе, стоял, переминаясь с ноги на ногу, и как-то нерешительно поглядывал на пристань.

— Поедем?! — спросил у него молодой человек.

— Да ведь все равно воротит, дело известное! — неуверенно произнес лодочник.

— А вот и поедем! Пусть попробует!

Не дожидаясь ответа, молодой человек сильно толкнул лодку, вскочил в нее и, ловко балансируя, добрался до кормы. Лодочник прошел несколько шагов по воде, покачивая головой, точно удивляясь, что дал себя уговорить, и тоже полез через борт. Заскрипели уключины, мягко заплескалась под веслами вода. Пассажир задумчиво смотрел перед собою.

Этот вольный простор исполинской реки, эти необозримые дали он видел с первых своих шагов по земле, но всегда тянет любоваться ими. Лодка двигалась быстро; они уже порядочно отъехали от берега, а та сторона казалась все такой же далекой. Вдруг лодочник с силой стукнул веслами.

— Переехали! Всё! — злобно выкрикнул он. — Да вы не туда смóтрите! На пристань глядите!

С лодки хорошо было видно, как к самому краю



пристани подошел бородатый мужчина в длинной рубахе и сложил руки трубой:

— Эге-ге-ге-ге-ей! — донеслось до них. — Поворра-а-ачи-вай обра-атно!

— Это что, он сам упражняется? — сощурясь, спросил молодой человек.

— А кто же? Самолично!.. Во как орет, на всю Волгу! Хозяин!.. — Лодочник криво усмехнулся. — Спросить, какая мы помеха ему?! Весь народ к нему валит, а все одно не дает заработать копейку... И всегда он правый. Большую силу забрал.

Фигура на пристани замахала руками:

— Эй-эй... Оглох, что ли?.. Греби наза-ад!

— Греби вперед! — коротко бросил молодой человек. Глаза у него сузились, потемнели. — Эх, нет второй пары весел!

— Без пользы это! — уныло сказал лодочник. — Сейчас, глядите, будет даровое представление... А народу что собралось, а? Бегут со всех сторон!

— Пусть! Греби вперед!

Невольно подчиняясь этому уверенному голосу, лодочник продолжал грести. Они уже миновали середину реки, когда над трубой пароходика точно вспыхнуло облачко. Послышался короткий вскрик гудка, с баржи поймали отцепленный конец, и пароходик бойко побежал, оставляя за собой как будто неподвижные складочки волн.

На борту пароходика стояли матросы с грозно поднятыми баграми — готовился настоящий абортдаж. Какой-то мужчина, тоже босой, с подвернутыми штанами, но в морской фуражке с белым чехлом — очевидно, капитан — командовал невероятно хриплым, пропитым басом:

— Пр-ра-ава руля! Полный ххо-од!

Когда до виновников погони осталось не более двух саженьей, капитан прохрипел:

— З-з-адний х-ход! Стоп-п!

Машина глухо стукнула несколько раз и застопорила. Пароходик причалил к лодке почти вплотную. Несколько багров сразу вцепились в ее борт.

— Запрещается тут перевоз! — веско сказал капитан. — Попрошу подняться на палубу.

— Не имеете права задерживать! — быстро ответил молодой человек. — Будете привлечены к ответственности!

— Это до нас некасаемо! Наше дело телячье! Как нам хозяин приказал, так мы и поступаем! Желаете на тот берег — пожалуйста сюда! Дальше лодку не допустим!..

Молодой человек подал лодочнику деньги, взобрался на палубу и тотчас же, достав из кармана записную книжку, потребовал сообщить ему фамилии всей команды.

— Это мы можем! — равнодушно ответил капитан. — Пишите, если желаете!

Когда пассажира доставили на пристань, к нему собственной персоной подошел хозяин и сказал со снисходительной улыбкой:

— И к чему вы себе делаете усилие, господин?! Соберется публика в должном числе, и перевезем вас законным манером... А пока не изволите ли откушать со мной чайку? С медом, с бубликами...

Пассажир точно не слышал приглашения:

— А кто установил, этот, как вы выражаетесь, законный манер?!

— Я-с! — Купец все так же улыбался. — Я плачу

за аренду и не могу позволять! Посему не допускаю!.. Так не желаете чайку?.. Как угодно-с!

А люди все шли и шли к пристани — с котомками, мешками, узлами. Подъехало несколько груженных подвод. Наконец матросы положили с баржи широкие сходни, началась посадка, погрузка. Пароходик свистнул, затарахтел, но тут с высокого берега послышались крики. Опоздавшие бежали рысью, махая руками, поднимая тучи ржавой пыли. Капитан подождал их — не терять же хозяину пассажиров.

— Отчали-ва-ай! — раздалась хриплая команда. Пароходик натянул скрипучий канат и потащил баржу на тот берег.

Купец вернулся к себе на балкончик. Услуживший мальчишка принес в противне раскаленные уголья для самовара. К столу подсел знакомый чиновник. Он тоже видел погоню за лодкой и теперь обсуждал с хозяином происшествие.

— Норовистый! — говорил купец, дуя в блюдечко. — Из молодых, да ранний...

— Нынче таких много развелось! — Чиновник деликатно прихлебывал с ложечки. — А только к чему это? Так, сотрясение воздуха. Вот катится волнишка по воде, тоже хочет подняться выше, а тукнется в пристань — и аминь... Тут ей и окончание!

Позабыв вскоре и о лодке, и о пассажире, они занялись городскими новостями и сплетнями, и ни один из них никогда бы не поверил, что придет время, когда весь город заговорит об этой истории.

Началась она с того, что купцу дали знать, по доброму знакомству, что на него идет из Самары жалоба по обвинению в самоуправстве. Сначала

купец не понял, о чем тут речь. Многие дела доводилось делать, из многих выкручиваться, но такого еще не бывало.

Ему объяснили, что именно означает эта жалоба и что подал ее некто Ульянов, помощник присяжного поверенного, практикующий в Самаре. Из памяти выплыло молодое, упрямое лицо, прищуренные глаза с пристальным взглядом. Вспомнились слова чиновника про волну. «Вишь ты! — усмехнулся купец. — Этак он меня напугает!» Ему никак не верилось, что из-за босяков-лодочников может возникнуть судебное дело.

Тогда купцу растолковали яснее, что дело, конечно, небольшое, но подсудное и как раз под статью о самоуправстве, по каковой предусмотрен месячный штраф без замены штрафом. Чтобы не иметь излишнего беспокойства, тут же порекомендовали ему и адвоката.

Адвокат — по всему видно — был опытный, серо-седой волчьей масти, ходил в потертом фраке, нюхал табак. И он тоже дал своему клиенту разъяснение, что дело небольшое, но кляузное, поскольку имеется бесспорное самоуправство, но тут же добавил, что страшен, мол, сон, да милостив бог. Получив аванс, он в положенное время выехал на разбирательство. Дело о самоуправстве загнали далеко, в уезд, откуда был родом ответчик. Когда адвокат явился к земскому начальнику, то уже застал обвинителя на месте и любезно с ним поздоровался:

— Из Самары извоили прибыть, коллега? Далеконько! Я думаю, что не менее ста верст... да еще по нашим российским дорогам!

Приезжий коротко ответил, что расстояние действительно не маленькое, но разговора не поддерживал. Вскоре их позвали в камеру земского начальника. Представительный мужчина с благородными подтеками под глазами, зачитав жалобу, сразу предложил сторонам пойти на мировую, ибо дело это нестоящее, мелкожитейское и вполне может быть улажено полюбовно.

Приезжий ответил, что и сегодня, и в дальнейшем он категорически отказывается от мировой и требует суда по существующему закону. Через некоторое время земский начальник объявил свое решение: дело слушанием отложить ввиду неясности некоторых обстоятельств.

Вернувшись из поездки, адвокат изложил своему подзащитному все виденное и слышанное. Купец задумчиво теребил бороду, несколько раз принимался спрашивать:

— Нет, ты мне скажи, для ради чего он старается? Не пойму, ей-богу! Я тебе плачу денежки, ты хлопочешь, а задаром ты бы и пальцем не шевельнул. Что, не так?! А ведь он еще и свои прикладывает, время теряет, ездит... Это что?!

— Молодо-зелено! — ответил адвокат, пожимая плечами. — Амбиция и все такое! Но тут нашла коса на камень! Научит его земский! Не скоро он теперь достанет дельце из-под сукна...

Адвокат знал, что говорит. Уже осень была на исходе, Волга дышала стужей, заолодевшие берега казались остриженными под нулевку, когда в ненастный день стороны получили вызов.

На этот раз, ожидая своего адвоката, купец беспокойлся, томился.

— Отложил вторично земский! — приветствовал его на другой день адвокат, хихикая и потирая руки. — Нашел причину! Но уж нестерпим сей самаритянин, доложу вам. — В голосе его слышалось даже что-то похожее на восхищение. — Явился весь вымокший, забрызганный, нету сухого местечка... Как нынче добираться от Самары — сами знаете. Всемирный потоп!.. А он будто и не замечает ничего. Предлагали опять мировую — ни за что!.. Ну, да ничего, поедит к земскому — оботрется... Измором возьмем... Отстанет!

Купец молчал. Было у него такое ощущение, будто он шел по ровному месту и вдруг ударился лбом обо что-то не видимое им, но кремнево-твердое...

А время не останавливалось. Волгу уже давно сковало льдом. Казалось, что по этой огромной белой равнине никогда не ездили на лодках и не было никакого перевоза, и сама пристань была теперь похожа на сказочный ледяной дом.

За несколько дней до Нового года помощнику присяжного поверенного Ульянову Владимиру Ильину доставили повестку от земского начальника. Домашним было известно о его тяжбе с купцом. Глядя на сына, который играл сейчас в шахматы со своим гостем, мать с тревогой думала, что ему опять предстоит бессонная ночь, опять надо тащиться невесть куда в поезде, на лошадях и пешком. Она знала, что никаким уговорам он не поддастся, но все же не могла смолчать:

— Бросил бы ты этого купца, Володя! Напрасно проездишь, только измучаешься.

— Придется ехать, мама, — мягко ответил сын,

поднимая голову от шахматной доски, — надо довести дело до конца! Такого случая нельзя упустить! Сколько они не откладывают, а приговор вынести придется! О нем узнают сотни людей, весь город. Очень полезный урок!.. Тактика земского ясна — затягивать, откладывать, потому что другого хода нет... Вот как у вас, — улыбнулся он своему партнеру и громко возгласил: — Мат!.. Но меня они этой тактикой не собьют... Вот только поезд идет ни свет ни заря... Придется вставать ночью.

* * *

Была весна. Ослабевшие, истаявшие льдины медленно плыли по вздувшейся воде, с тихим шуршанием задевая одна другую, все шире становились разводья. Мокрые поля слегка дымились, в каждой лужице валялись червонные слитки золота. Навигация еще не началась, пароходы еще только прочищали глотки, перекликаясь простуженными гудками, на заторах и пристанях скалывали лед, а перевоз уже работал.

Целая флотилия перевозила людей на тот берег. Были тут и грузные рыбацьи посудины, и солидные ялики, и юркие лодчонки. И как только затевался где-нибудь разговор, — сразу поминали купца, владельца пристани, сидевшего ныне в арестном доме.

Лодочник в обтрепанном картузе чувствовал себя героем. Он уже в сотый раз, наверное, рассказывал, как вез пассажира, который «засудил этого купчину», и понемногу добавлял все новые краски:

— Наш, волжский! Сразу видать с обличья! Вьюноша, но богатырь, голос зычный. Как отрезал мне: «Гребь вперед!» — так у меня сами заходили весла!

— Вот обожди, купцу-то сидеть недолго! Выдет — покажет вам! Свет станет в копеечку!

Лодочник торжествующе засмеялся:

— Нет, подавился купец чаем! Больше в тюрьму не захочет! А если что-нибудь удумает, то мы ему... — Лодочник втянул в себя побольше воздуха и прохрипел: — За-а-а-дний х-хо-од! Стоп-п!



ПАССАЖИР С ПРОХОДНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ

Обычно доктор ездил по железной дороге вторым классом. Первый он считал для себя дороговатым, а третьего избегал по причине многолюдья, тесноты и прочих неудобств.

Но однажды — это было ранней весной тысяча восемьсот девяносто седьмого года — ему все-таки

пришлось познакомиться с этими неудобствами. По случаю масленичных дней выехать из Москвы оказалось чрезвычайно трудно, и если б не оборотистый носильщик, захвативший для доктора верхнюю полку в третьем классе, сидеть бы ему на Курском вокзале неведомо сколько времени.

Вагон дальнего следования, которым ехал доктор, был переполнен до удушья. Здесь, наверное, не удалось бы обнаружить даже вершка незанятого пространства. И вот так, стиснутые в узких вагонных стенах, зажатые среди мешков, узлов, котомок, корзин, люди едут сутками, неделями, забываясь только во сне, тяжело, как грохотанье чугунных колес.

Глядя на тусклый, моргающий огонек в керосиновом фонаре, доктор размышлял: «Говорят, яблоку негде упасть! А почему, собственно, яблоку? Что за единица измерения? Тут не яблоку, а горошине негде упасть... А еще говорят: «В тесноте, да не в обиде». Нет, сюда это не подходит! Здесь люди в страшной обиде, в нечеловеческой обиде...»

За окнами рассвело, а доктор все еще ворочался на своем жестком деревянном ложе, безуспешно пытаясь заснуть. В уши лез назойливый храп соседей, кто-то стонал и вскрикивал со сна, надрывно, почти не умолкая, плакал ребенок. Потом забренчали чайники, кружки — верный признак приближающейся станции.

Когда поезд остановился, те, кто порезвее, кинулись к торговым рядам за вокзалом. Оттуда доносились громкие выкрики: «Кому сытных пирогов с горохом?», «А вот квас хлебный, квас клюквенный!»

Доктор медленно пошел вдоль поезда. Поташнивало, ломило виски, в горле пересохло. Не хотелось ни пить, ни есть, а только вдыхать утренний прохладный воздух.

За грязно-зелеными облупившимися третьеклассными вагонами следовали аккуратные второклассные, а дальше, сияя лакированными боками и зеркальными стеклами, стоял роскошный спальный вагон первого класса.

Он существовал как бы отдельно от всего поезда, скрывая за светлыми сборчатыми шторками жизнь своих обитателей. Но вот двое из них вышли наружу: дама в легкой накидке с голубым мехом и офицер, сверкающий позолотой пуговиц и погон.

Скользнув невидящим взглядом по лицу доктора, они стали прохаживаться у вагона, перебрасываясь французскими фразами. Они тоже существовали отдельно от всего, что было вокруг: и от многоголосого вокзального шума, и от выкриков с торговых рядов — от всего этого мира, где едят пироги с горохом и спят вповалку на мешках, узлах и торбах.

Мимо доктора мелкой рысцой пробежал проводник, держа в руках поднос, прикрытый накрахмаленной салфеткой. Доктор посмотрел на его угодливо изогнувшуюся спину и повернул обратно. Он шел глубоко задумавшись, глядя себе под ноги и чуть не налетел на толпу, собравшуюся в кружок на платформе. В центре его виднелась красная фуражка начальника станции. Какой-то молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком говорил ему, точно подталкивая слова короткими взмахами руки:

— Соблаговолите все-таки объяснить, почему касса продает билеты в третий класс! Там и без того уже ни встать ни сесть!

Начальник пожал плечами:

— Ничего не могу добавить к вышеизложенному!

— Но вы же ничего еще не изложили! — Молодой человек придвинулся к начальнику вплотную. — Давка чудовищная! Вы обязаны прекратить продажу билетов и прицепить по крайней мере один свободный вагон.

Начальник молча воззрился на своего непрощенного собеседника. На скулах у него заиграли желваки. Молодой человек требовательно, в упор смотрел на него. Но тут прозвучали гулкие медные удары станционного колокола, рассыпался дребезжащий свисток обер-кондуктора.

— Господа, господа, — вскинулся начальник станции, — займите ваши места, иначе отстанете от поезда!

— Вывернулся! — угрюмо сказал кто-то из толпы.

Доктор с трудом пробрался на свое место. В вагоне как будто стало еще теснее. Неужели здесь смог поместиться хоть один новый пассажир?

И снова застучали колеса, поплыли мимо окон оттаявшие голые поля. Мысли доктора вернулись к только что виденному: начальник станции с ерзающими желваками на скулах, молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком. Хочет прошибить кулаком стену, да еще какую стену! Что же, разобьет себе кулак — и ничего более...

Мысли доктора рассеялись, заглох настойчивый

перестук колес. Открыв глаза, он с удивлением уставился, что выпался, и весьма изрядно. За окнами переливался яркий солнечно-голубой день.

— Узловая. Стоим час без малого, — сказал кто-то из нижних пассажиров. И сразу захотелось крепкого, горячего чаю с лимоном.

На двери вокзального буфета было написано: «Для пассажиров первого и второго класса». У порога стоял мордатый швейцар и наметанным глазом определял посетителей. «Куда?! — выкрикнул он, придерживая пятерней старика в картузе и рыжей поддевке. — Ваше заведение на том конце».

Доктор никогда не интересовался ни надписями на буфетах, ни швейцарами у дверей, а шел себе спокойно вперед. А сейчас он невольно задержался, поглядел искоса на свой помятый пиджак с налипшими соринками, потом на швейцара — еще спросит: «Куда прешь?!»

Подумав это, доктор покраснел, нахмурился и, смотря прямо перед собой, направился в буфет. Чай оказался такой, какого желалось, — горячий, крепкой заварки, но похоже было, что доктор этого не оценил. Он сидел нахмурясь, рассеянно подталкивая ложечкой прозрачный ломтик лимона.

Покончив с чаепитием и расплатившись, он вышел из буфета и сразу же натолкнулся на происшествие. Опять толпа на платформе, но больше, гуще. Опять начальник станции в центре. Но этот был не один, а с какими-то железнодорожными чинами. Рядом с ними жандарм. И тот же молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком.

— Нам уже известно, что вы и есть именно то самое лицо, которое собирает, так сказать, публику

на каждой станции и... э... отвлекает от занятий дорожный персонал,— хрипел начальник, спотыкаясь о многочисленные междометия и приставки. — Изложите... э... ваши претензии, как положено... в письменной форме и не устраивайте, так сказать... э... эксцессов...

— Я полагаю, мы не будем тратить время на писание и прочтение бумаг,— хладнокровно ответил молодой человек. — Вы же сами отлично понимаете всю бессмысленность этого занятия! У вас спрашивают, какие меры примете вы, чтобы уменьшить дику, безобразную давку в вагонах третьего класса. Люди едут в невозможных, немыслимых условиях. Среди них — кормящие матери, старики, старухи. Так дайте же хоть один дополнительный вагон.

Начальник станции обернулся к железнодорожным чинам и бросил одному из них, видимо, помощнику:

— Поместите этого господина в служебное купе!

— Это вы меня собираетесь помещать? — молодой человек насмешливо сощурился. — Вы, милостивый государь, плохо меня поняли. Речь идет о всех пассажирах третьего класса, а не только обо мне, и вы обязаны принять меры. У вас же есть свободные вагоны!

Толпа зашумела. Жандарм приподнялся на цыпочки и задрал голову, как бы желая установить виновников этого шума. Начальник стал шептаться со своими, и шея у него багровела все больше. Потом все услышали, как он прохрипел помощнику:

— Начальнику движения... э... передайте... пусть прицепит... к черту! Порожний, так сказать...

Молодой человек шагнул за ним:

— Позвольте уточнить, когда это будет сделано? Начальник затрясся:

— Э... теперь... сейчас! — и почти побежал к служебным помещениям вокзала.

Достав из кармана часы на шнурке, молодой человек сверил их с вокзальными. Движения у него были неторопливые, спокойные, как будто он закончил мирную беседу.

У доктора, стоявшего поблизости, чуть не вырвалось: «Смотрите, все-таки пробил!» Возникло непреодолимое желание сказать хотя бы несколько слов этому удивительному пассажиру. Он подошел ближе и приподнял шляпу:

— Извините великодушно, но я хочу выразить вам восхищение и благодарность... Я убежден, что все пассажиры третьего класса уполномочили бы меня на это. Еще утром на одной из станций я наблюдал за вашими действиями. Да, к сожалению, я был только наблюдатель. Скажу откровенно, я не верил в возможность даже самого незначительного успеха. Но вы одержали победу!

Молодой человек слушал, чуть наклонив голову. Взгляд его карих глаз был необычайно пронизателен, точно говорил: «Сейчас узнаем, кто ты таков!»

Эта мгновенно произведенная оценка была, видимо, в пользу доктора. Молодой человек ответил благожелательно:

— Пожалуй, еще рано поздравлять. Пусть сначала прицепят вагон!

— Далеко изволите ехать?

— До Красноярска.

— Так мы же попутчики с вами! И я до Крас-



ноярска! — воскликнул доктор. — Тамошний житель. Врач. Ездил по делам в Петербург и Москву, а теперь возвращаюсь восвояси... Тогда уж разрешите и представиться?! — доктор снова приподнял шляпу и назвал себя.

— Очень приятно. Предвижу возможность пополнить свои небольшие познания о Сибирском крае, — молодой человек в свою очередь отрекомендовался: — Ульянов. Помощник присяжного поверенного, а ныне — пассажир с проходным свидетельством. Пока что в Красноярск, а что дальше — сие на усмотрение начальства. — В быстрых глазах говорившего засветилась усмешка. — Знаете, как теперь говорят? Дальше едешь — тише будешь...

Доктор буквально онемел от изумления. Как житель Восточной Сибири, куда ссылали политических, он хорошо знал, что такое проходное свидетельство.

Это означает, что осужденный на ссылку следует к месту назначения не по этапу, а собственными средствами. С него берут подписку, что он обязан прибыть в указанный срок и немедленно явиться для отметки в полицию. Останавливаться по дороге строго воспрещается. Если задержат — снова тюрьма и уже обязательный этап. И вот этот бесправный человек смело борется за человеческие права, не отступая ни на шаг, добивается своего и побеждает...

— Знали бы они, с кем дело имеют, вот бы у них физиономии вытянулись! Представляете картину? — новый знакомец рассмеялся как-то по-детски беззаботно. — А вы, доктор, в каком вагоне едете? — спросил он, утирая повлажневшие от смеха глаза.

— Вот в этом...

— Стало быть, мы с вами не только попутчики, но и соседи. Заходите в гости. Большого гостеприимства оказать не могу, но недостаток его мы восполним интересным разговором. — Он взглянул на часы. — Что-то не чувствуется никакого оживления в связи с прицепкой вагона. Загляну-ка я еще раз к господину начальнику станции... Так заходите, доктор! Вы в шахматы играете? Превосходно! Тогда сразимся! У меня они имеются...

Едва доктор возвратился в вагон и улегся на своей верхотуре, как во всех углах поднялась суматоха. На все лады повторялись слова о том, что прицепили свободный вагон. Чей-то озорной голос выкрикнул: «Новенько-ой! Что игрушечка! Местов — занимай не хочу!»

Позабыв о крайней ограниченности своего местоположения, доктор сел чересчур резко и стукнулся головой о верхнюю доску. Но он даже не заметил этого. Ему хотелось аплодировать изо всех сил, не жалея ладоней, как студенту на галерке.

И тут он увидел «пассажира с проходным свидетельством», который пробирался сквозь вагонную кутерьму, внимательно оглядывая полки.

— Вы не меня? — крикнул ему доктор.

— Да, да, вас! Предлагаю вам перейти в дополнительный вагон.

Прицепленный вагон действительно был новый или заново отремонтированный. Двухместное купе с открытым окном, с полками, еще блестящими свежей окраской, показалось доктору необыкновенно уютным.

— Вот здесь мы с вами и поедем! — в голосе

нового знакомого слышалось торжество. — Располагайтесь, доктор!

Он снял пальто и шляпу. С крупной головой, высоченным лбом, широкими плечами, которые были как-то незаметны под пальто, он показался доктору значительно старше.

— Приготовьтесь, доктор, к тому, что я буду вас нещадно эксплуатировать, — улыбка снова сделала это лицо юношески молодым, — буду все время выпрашивать вас о Сибири. Говорят, Сибирь — сказочная, необыкновенная страна. Будущее у нее такое, что дух захватывает.

Доктор смотрел как зачарованный: и это говорит человек, который осужден тянуть долгую лямку ссыльного в неведомой ему глухомани, где зима продолжается тринадцать месяцев в году, как неведомо шутят тамошние жители. . .

Под вагоном точно продернули ржавый скрежещущий звук. Колеса отбили свой первый чугунный такт. Кирпичное здание вокзала стало медленно отворачивать в сторону.

Рядом со стрелочницей, высоко поднявшей свой флажок, стояла крошечная девочка и старательно махала ручонкой проходящему поезду.

«Пассажир с проходным свидетельством» высунулся из окна и махал ей до тех пор, пока она не скрылась из виду.



В ДАЛЕКОМ КРАЮ

Село Шушенское. Речка Шуша.

Теперь эти странно звучащие названия известны всему миру. А в конце прошлого столетия это был почти никому неведомый клочок земли в далекой, еще дикой Сибири.

От Шушенского до линии железной дороги было

семьсот верст. Кругом тайга, глухомань, безлюдье. Длинная, длинная зима — такая, что вода в реке промерзает до дна, а ртуть в градуснике превращается в лед. Темная, тоскливая осень. Весна и лето, пролетающие, как сон. И снова низкое, суровое небо и вой пурги в необозримых снежных просторах.

Здесь, в этом диком краю, отбывали ссылку Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. Точно невидимым циркулем обвело полицейское начальство тот круг, в котором они могли жить и передвигаться. Всевидящее око сельского старосты, жандарма и станowego пристава неусыпно надзидало за ними.

Немного было у них товарищей, знакомых в Шушенском — считанное число: путиловский рабочий Энгберг, шапошник из Польши Проминский — тоже ссыльные; немудрящий мужичок Сосипатыч да Минька — соседский сын, каждодневный гость и приятель.

И была еще собака, по кличке Женька.

* * *

Когда Женька попала в руки к Владимиру Ильичу, она была бездомной и невоспитанной собакой. Все ее уменье заключалось в том, что она носилась повсюду со щенячьей резвостью и лаяла по любому поводу.

Собака была хорошей породы — шотландский сеттер-гордон — способная и понятливая от природы. Владимир Ильич стал заниматься с ней в свободное время.

Прежде всего Женьку следовало отучить лаять без толку. Ей достаточно было услышать гавканье цепных псов, которых держали в Шушенском сельские богатеи, как она заливалась ответным лаем. И, конечно, для нее было все едино — ночь сейчас или день.

Владимир Ильич терпеливо отваживал ее от этой скверной привычки.

— Тихо, тихо! — успокаивал он Женьку. — Собака лает — ветер носит. Это специально для вашего брата придумано!

Постепенно Женька отвыкла вмешиваться в чужие скандалы. Научилась спать в сених на подстилке, ничего не хватала без спросу, не давилась от жадности во время еды и не переворачивала миску, не лезла куда не следует, слушалась команды: «лежать», «на место», «ко мне» — и еще многому, что полагается знать благовоспитанной собаке.

Надежда Константиновна вспоминала потом в своей книге, как Владимир Ильич выучил Женьку «и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке».

И только от одной привычки невозможно было ее отучить. Ей очень нравилось открывать все двери в избе. Делала это Женька с большой ловкостью: толкала дверь носом, а если требовалось, то и лапами.

Часто бывало так: сидит Владимир Ильич в своей комнатке, пишет, читает. Вдруг дверь распахивается настежь.

— Ах, это вы? Здравствуйте, давно не виделись! — говорит Владимир Ильич. — Визиты наносить вы

любите, а нет того, чтобы дверь закрывать за собой!

Но этому искусству Женька так и не научилась.

* * *

Первая весна в далеком, глухом краю.

Казалось, что никакая сила не заставит дрогнуть это огромное безмолвное ледяное царство. Но вот пришло время, и снежные поля растеклись голубыми озерами. Целыми днями горит в них медное солнце, спокойно плавают дикие лебеди.

В оживающем лесу сонно бормочут тетерева, точно селятся вспомнить что-то, позабытое за долгую зиму. А речонка Шуша — такая мелкая, невидная — как будто решила напомнить, что она все-таки приток могучего Енисея и состоит с ним в ближайшем родстве. Она несется, бурлит, выходит из берегов, оставляя за собой островки, протоки.

Весна — всегда радость, а в далеком, глухом краю радость особенная.

Все чаще приходят к Владимиру Ильичу товарищи по ссылке — Проминский и Энгберг, заглядывает Сосипатыч с ружьем.

— Гуси прилетели. Уток видели нынче.

Значит, скоро начнется весенняя охота, а с ней — первый Женькин выход. Теперь она должна показать, пошла ли ей впрок собачья наука. А обязанностей у нее немало: нужно учуять и разыскать дичь, затаившуюся в траве или кустах, найдя, сделать стойку — вот она, тут! Лечь и лежать неподвижно, чтобы не распугать других птиц и не помешать выстрелу. А после обнаружить и принести добычу.



Первое время Женька нет-нет да и срывалась. Подняв дичь на крыло, как выражаются охотники, она вдруг начинала гоняться за ней. Очень уж ей хотелось самой изловить птицу.

— Валеткины штуки, — говорил Владимир Ильич, — но ведь я же не морю голодом, как Кузьма...

Пес, которого звали Валетка, запомнился еще с детства. Принадлежал он кокушкинскому охотнику Кузьме, который говорил, что собаку кормить — только портить. Сама должна промышлять.

И Валетка промышлял, как умел. Ловил голубей, воровал кур, лазал по чуланам. А на охоте у него с хозяином было принято так: кто первый добежит, того и добыча. И не раз случалось, что, схватив подстреленную птицу, Валетка удирал с ней куда-нибудь подальше и быстро ее пожирал.

Эта история сместила Сосипатыча до слез, но, когда Женька гоняла дичь по собственному почину, он сердился. А Владимир Ильич терпеливо разъяснял Женьке, что порядочные охотничьи собаки так не поступают.

Вскоре умная Женька стала работать добросовестно и была у Владимира Ильича наилучшим помощником по охотничьей части. Она бесстрашно лезла в тростниковые заросли, в непроходимые болота и доставляла подбитую дичь хозяину.

* * *

В книге у Надежды Константиновны можно найти такую запись:

«Наше хозяйственное обрастание все увеличивается — завели котенка».

А еще через некоторое время в хозяйстве прибавился журавль — подарок Сосипатыча.

Собака, котенок, журавль! И все под одной крышей! Как бы не возникли у них раздоры, разногласия!

Но все сложилось благополучно. Женька даже молоко пила с котенком из одной миски. А журавля она немного побаивалась. Он умел очень выразительно щелкать клювом и шипеть.

Журавлик был совсем молоденький и еще не научился летать. За лето он сделался ручным, спал во дворе, расхаживал по сельской улице. Иногда пускался в пляс и очень всех потешал.

Незаметно подошла осень. Журка затосковал. Он часто заходил в сени, в избу, беспокойно курлыкал — должно быть, начинал мерзнуть.

С высокого неба все чаще доносились трубные крики улетающих на юг журавлей. Они летели, построившись острым клином, точно рассекая воздух. И вот настал день, когда Журка взмахнул отросшими крыльями и пустился догонять пролетающую стаю.

Все к нему очень привыкли и привязались. Но разлука их не опечалила. Они радовались, что Журка вернулся к своим и летит сейчас в удивительные, сказочные страны.

* * *

Годы ссылки были тяжелым испытанием. Но и в глухом, далеком краю ни один день не прошел впустую у сыльных революционеров.

Здесь, в Шушенском, Владимир Ильич Ленин

написал книгу, которая стала учебником для партии большевиков. Много было перечитано, обдуманно на будущее. Здесь был составлен план первого номера большевистской газеты «Искра».

Своими руками, своим трудом украсили Владимир Ильич и Надежда Константиновна скудный уголок земли, куда их сослали царские судьи. Сами привозили деревца из леса, построили изгородь и беседку, заботливо вырастили садик, вскопали огород.

А время шло. Здесь, в Шушенском, они встретили новый, тысяча девятисотый год и начало нового, двадцатого, века.

В феврале — конец ссылки. Отпустят ли? Бывало и так, что полицейские власти по собственному произволу набавляли срок.

Теперь время тянулось в мучительном ожидании. Владимир Ильич похудел, не спал ночами. Наконец стало известно, что отпустят.

Наступил день отъезда. Упаковано несложное имущество: посуда, одежда. Только книг и бумаг набрался огромный тюк.

Пришли проститься Энгберг, Проминский — им еще оставаться в Шушенском. И Сосипатыч тут, и Минька.

А Женька? Как же быть с ней? Ее не возьмешь с собою!

Не домой, не на спокойную жизнь уезжают Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Впереди другая жизнь — тревожная, опасная. Может быть, снова тюрьма и ссылка.

Владимир Ильич заранее обдумал Женькину судьбу. Списался с Барамзиным — товарищем по ссылке. Барамзин жил по соседству, за сто верст (такое расстояние считалось в Сибири соседством). Выхлопотав разрешение у полиции, Барамзин приехал в Шушенское.

В день отъезда Женька как будто чувствовала, что предстоит расставанье. Она ни минутки не сидела на месте, открывала все двери. И хотя на дворе был еще суровый февраль и несло морозом из сеней, никто не делал ей замечаний.

К крыльцу подкатила тройка крепких сибирских лошадок, запряженных в удобные, вместительные сани-кошевки — так их называют сибиряки...

Немало пришлось повозиться Барамзину, пока при помощи Миньки удалось заманить собаку в заднюю комнату и накрепко закрыть дверь. Нельзя было поступить иначе. Ведь Женька побежала бы за саними и никакая сила не смогла бы ее остановить.



ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Нонец ссылки был уже близок. Все тягостнее становилось ожидание. В письме на волю Надежда Константиновна писала, что считает не только дни и часы, но даже минуты, которые остается ей отбыть в Уфе. Тяжесть ожидания усиливалась еще и тем, что от Владимира Ильича, находив-

шегося тогда за границей, давно уже не было никаких вестей.

Несмотря на всю сложность тайной, шифрованной, переписки, связь с ним наладилась поначалу неплохо. У Надежды Константиновны имелся в Уфе «верный адрес». Принадлежал он скромному служащему уфимского земства. В партии землец не состоял, жил тихо и мирно, не привлекая к себе внимания жандармов и полицейских шпииков. Вместе с тем он оказывал некоторые услуги революционной работе. На его имя поступала заграничная корреспонденция, и он передавал ее Надежде Константиновне. Такие адреса считались у подпольщиков самыми верными.

И с той и с другой стороны письма были вполне невинного содержания. В них говорилось о здоровье родственников, о посещении театра или музея, передавались поклоны и поздравления с праздником. Царской цензуре не к чему было придраться. А между строками этих невинных посланий вписывалось «химией» другое письмо, не видимое постороннему глазу, и только получатель знал, как его прочесть.

Кроме писем, был еще один способ почтового отправления, который считался у Владимира Ильича наиболее подходящим для конспирации: книжная бандероль.

Какой-нибудь благонамеренный роман ни в ком не вызывал подозрений. Обыкновенное чтение — вот и все. Но получательница этих романов вычитывала из них то, что было понятно лишь ей одной.

Буквы и слова, отмеченные черточками, точками, складывались в строки и фразы, содержащие партийные директивы, фамилии, адреса, явки. Рас-

шифровка была очень трудным, кропотливым делом и занимала иногда по несколько дней.

Бандерольная почта была достаточно надежной, но все же ею не следовало увлекаться. Поэтому заминки, перерывы были неизбежны. Однако нынешний перерыв был необъяснимо длительным, и это очень тревожило Надежду Константиновну.

Пора было начинать подготовку к отъезду, о многом условиться с Владимиром Ильичем, установить место встречи, но именно в это время связь с ним прервалась. Зная его исключительную точность и обязательность, оставалось думать только одно: что-то случилось! Разве мало непредвиденных опасностей на жизненном пути революционера?

Книжные бандероли, поступавшие в Уфу на имя земского служащего, подписывал некто Модрачек из Праги. Очевидно, Владимир Ильич проживал в Праге под этой фамилией. Но там ли он сейчас? Действителен ли пражский адрес? Последняя бандероль была получена давно, и все могло измениться. Как видно, придется ехать наудачу.

Наступило 11 марта 1901 года — знаменательный день для Надежды Константиновны: ее вызвали в полицию и объявили, что срок ссылки окончен.

Пошли суматошные дни и ночи. За короткое время требовалось перевернуть целую гору: собраться в дорогу, побывать в Москве у Марии Александровны — матери Владимира Ильича, устроить свою мать в Петербурге.

Наконец все было сделано, и поезд повез Надежду Константиновну в Прагу. Ехала она в зимнем одеянии — в Уфе март месяц еще холодный,

а в Праге было по-весеннему тепло, и все посматривали на ее шубу с меховым воротником.

Россиянин, оказавшийся в Чехии, всегда может рассчитывать, что его здесь поймут. Надежда Константиновна без труда сговорила с извозчиком в блестящем цилиндре, погрузила в пролетку свои чемоданы, корзины, коробки и отправилась на поиски Модрачека. Пролетка везла ее по знаменитым пражским бульварам, густо обсаженным каштанами, мимо старинных златоглавых соборов, мимо живописной весенней толпы. Это была первая поездка Надежды Константиновны за границу, но ничто сейчас не интересовало ее.

Дом, указанный в адресе, находился в рабочем квартале, и все тут выглядело по-другому, чем в центре. На подоконниках проветривались одежда, подушки, одеяла. Пахло стиркой, кухонным чадом.

Дверь открыл мужчина в рабочей блузе:

— Модрачек? Это я, пани!

Он с любопытством смотрел на молодую женщину, несомненно, иностранку, одетую явно не по сезону.

— Как же так? — растерянно произнесла она. — А другого Модрачека здесь нет?

— К сожалению, пани, здесь имеется только один Модрачек!

— Но от какого же Модрачека приходила почта в Уфу? — вывалось у нее. — И с этим обратным адресом?

— В Уфу? Минуточку, пани! Не иначе, как вы жена герра Ритмейера. Он посылал через меня бандероли в Уфу!

Надежда Константиновна сразу оживилась: «Стало быть, Модрачек — это «верный адрес» Владимира Ильича, а сам он — герр Ритмейер».

— Могу я увидеть его?

— До последнего времени, насколько я понимаю, пани, герр Ритмейер квартировал в Мюнхене, — ответил Модрачек. — Оттуда он и направлял мне почту для пересылки вам. Но там ли он сейчас — этого я сказать не могу... Адрес его у меня есть... Да вы зайдите, пани, отдохните, на вас же просто лица нет. Шутка ли — приехать сюда прямо из Уфы!

Надежда Константиновна с благодарностью приняла гостеприимное предложение, но что это был за отдых?

«Не дал мне знать, что находится в Мюнхене, — неотступно думала она. — Не сообщил ни слова. Непостижимо!»

А потом снова шумный вокзал, возня с вещами, переполненный вагон и ни минуты сна. Но теперь у Надежды Константиновны был уже некоторый опыт. Тотчас же по приезде в столицу Баварии она сдала вещи в багаж и поехала к герру Ритмейеру налегке.

Огромный серый домина. Пивная. Фотография. Аптека. С улицы входа нет. А дворов оказалось несколько, и в каждом из них — множество подъездов.

Пришлось облазять десятки узеньких черных лестниц — от подвалов до чердаков, потому что номера квартир шли вразбивку. Но искомой квартиры № 1 обнаружить не удалось. Похоже было, что ее вовсе не существует.

К счастью, немецкий был неплохо знаком Надежде Константиновне. Учила его в гимназии, потом

практиковалась с Владимиром Ильичем в Шушенской ссылке, а он знал этот язык превосходно.

И теперь, преодолев свою всегдашнюю застенчивость, она стала спрашивать у каждого встречного, как найти таинственный первый номер. Наконец кто-то ей объяснил, что в этом доме квартирой № 1 считается пивная.

Пивная? Час от часу не легче! Какое отношение имеет к подобному заведению герр Ритмейер?

На стеклянной двери пивной был нарисован толстенный немец с поднятой кружкой. Сама пивная была без затей, с простыми столами и табуретками. У стойки, в окружении бочонков и насосов, стоял хозяин, удивительно похожий на толстяка, нарисованного на дверях.

«...Робко спрашиваю господина Ритмейера, предчувствуя, что опять что-то не то. Трактирщик отвечает: «Это я». Совершенно убитая, я лепечу: «Нет, это мой муж!»

Так, много лет спустя, описывала Надежда Константиновна эту сцену, но тогда ей было не до смеха.

Во время объяснения с хозяином из дверей за стойкою вышла фрау Ритмейер, прислушалась к сбивчивому разговору и уверенно сказала:

— Я знаю, в чем тут дело! Это жена герра Мейера! Он ждет жену из Сибири!

Надо было обрадоваться, но Надежда Константиновна не решалась. Сейчас ей сообщат, что герр Мейер живет в другом городе или в другом государстве...

— Он тут близко! — сказала фрау Ритмейер. — Я вас провожу.

По дороге она объяснила своей спутнице, что хотя ее муж и содержит пивную, но по убеждениям он социал-демократ и сочувствует русским революционерам. Герр Мейер скрывается у него на квартире, живет без прописки, а почта его отправляется от имени Ритмейера.

«Но как же он ничего мне не сообщил? — в сотый раз спрашивала себя Надежда Константиновна, идя с ней рядом. — Как могло это случиться?»

Пришли на задний двор, поднялись по невзрачной лестнице. Только бы оказался дома герр Мейер, только бы застать его!

Но полоса невезения, как видно, уже закончилась. Герр Мейер был дома. Чтобы не мешать встрече, фрау Ритмейер тактично удалилась.

— Вот так история с географией! — восклицал Владимир Ильич, слушая Надежду Константиновну. — Но ведь я же послал книгу с шифровкой по твоему «верному адресу». Там все было написано... Значит, не доставили?! Потеряли в дороге или еще что-нибудь! Какое это все-таки преступление!.. Эх, добраться бы до этих почтовых разгильдяев!

И много еще нелестных слов и недобрых пожеланий выслушали бы работники почтового ведомства, доведись им присутствовать при этом разговоре.

* * *

Позднее неоспоримо выяснилось, что почта была тут ни при чем: бандероль с книгой вовремя доставили в Уфу и вручили по назначению.

Полистав полученную книгу, «верный адрес»



решил немножечко задержать ее, чтобы прочесть, да так и не отдал.

Зачитал.

В комнате у Надежды Константиновны, на ее письменном столе, всегда лежала наготове пачка цветных открыток. Были там и звери, и цветы, и пейзажи. «Это для переписки с пионерами, моими милыми друзьями-приятелями», — объясняла она.

Пионеры были нередкими гостями в Наркомпросе. Однажды сюда прибыла пионерская делегация с Урала. Беседа с Надеждой Константиновной была горячей и откровенной. Кто-то из ребят сказал, между прочим, что у них в школе есть любители зачитывать книги. Берут из библиотеки, берут у товарищей, а возвращать не считают нужным. Бывает, требуется книга позарез, а ее нет...

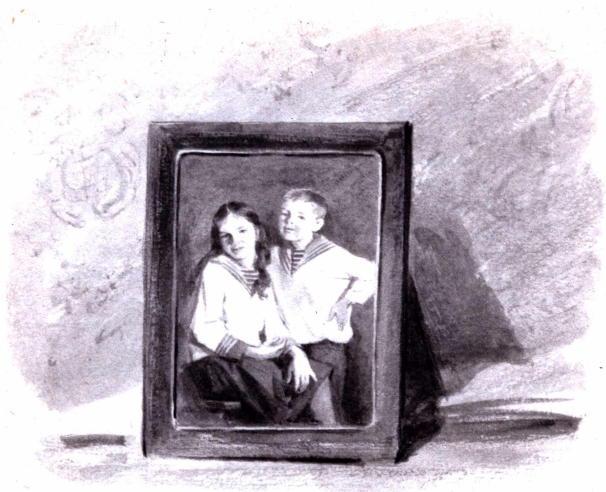
— Да, к несчастью, такие любители есть и среди нас, взрослых, — сказала Надежда Константиновна. — Много вреда они приносят. Владимир Ильич всегда с негодованием говорил о подобных лицах. Сам он был образцом аккуратности. Библиотекаршу в Кремле он предупредил, чтобы она без стеснения указывала ему, если он не возвращает книгу в указанный срок, хотя таких случаев с ним не бывало. Если книга требовалась ему еще на несколько дней, он обращался с просьбой о продлении.

Нам пришлось не раз столкнуться с этим ужасным обыкновением — зачитывать книги, и всегда это приносило большие огорчения. Когда мы жили в эмиграции, один товарищ попросил у Владимира Ильича статистический сборник на несколько дней. Взял — и больше не показывался. У Владимира Ильича срывалась работа, он потратил немало времени на ро-

зыск исчезнувшего товарища, даже вывешивал объявления с просьбой вернуть книгу. А в другой раз вышло еще хуже. . .

И Надежда Константиновна вкратце рассказала своим слушателям «историю с географией».

— Как это ни странно, — заключила она свой рассказ, — но эти самые личности, которые присваивают чужие книги, продолжают считать себя вполне честными и порядочными и со спокойной совестью глядят в глаза окружающим. А между тем в разговоре о таких людях слово «совесть» надо произносить с большой осторожностью, потому что совести им как раз и не хватает. . .



Н Е З А Б Ы Л

О последнем подполье Ленина написано много. Дни, когда, скрываясь от ищек Временного правительства, Ленин руководил подготовкой Октябрьского штурма, запечатлены в романах и пьесах, повестях и воспоминаниях, рассказах и кинокартинах. И, наверно, потому, что так исторически огромен

каждый из этих дней, как-то в тени остался один не-большой эпизод, тоже связанный с последним под-польем Ленина.

Он выглядит очень скромным, этот эпизод, рядом с гигантскими историческими событиями, но как чудесно дополняет он великий Ленинский портрет!

* * *

Когда хозяйка квартиры на Сердобольской улице узнала, какая безмерно ответственная задача ей предстоит, она задумалась только об одном: дети! Как быть с детьми?!

Скоро осень; они вернутся с дачи. Галочка учится в коммерческом, Сереже нынче поступать в первый класс. Дети есть дети; и, находясь в квар-тире, где кто-то скрывается, они случайно могут проговориться и навести на след. . .

Размышляя об этом, Маргарита Васильевна Фофанова вспомнила о своей тетке, которая жила на Николаевской улице. Пожалуй, у нее и можно будет поселить на время Галочку и Сережу.

— Нет, этого делать нельзя, — сказала Надеж-да Константиновна Крупская, узнав об этом плане.— Не сочти меня жестокой, но детей нельзя оставлять в городе. Тебе предстоит напряженная работа, свя-занная с большим риском, а дети будут тебя отвлекать!

Крупская была права.

«Горячая большевичка» (так называли Марга-риту Васильевну товарищи), не колеблясь, согласи-лась с ней и приняла другое решение: отправить

детей к бабушке с бабушкой, в Уфимскую губернию. В письме к родителям она писала, что в Петрограде становится голодно, что и сама она подумывает в дальнейшем передвинуться поближе к Уфе, а пока просит приютить ребят. Ее младшая сестра Верочка взялась сопровождать их в дальнюю дорогу.

Так, совместно, был решен этот нелегкий для матери вопрос. Теперь она могла все душевные силы отдать главному своему делу.

С Лениным, который скрывался в Финляндии, все уже было договорено. Переодевшись крестьянкой, с поддельными документами, Надежда Константиновна Крупская побывала у него, передала план местности и ключи от квартиры Фофановой.

Осенью в квартире на Сердобольской улице поселился новый «жилец» — Константин Петрович Иванов, рабочий Сестрорецкого оружейного завода. Были сразу же разработаны необходимые правила конспирации: «жилец» не должен отзываться ни на какие звонки (кроме условленного), не подходить к окнам, не производить ни малейшего шума.

Соседи — неплохие люди, но все же за стеной справа проживает шестнадцатилетний лоботряс, который не учится и не работает, водит компанию с какими-то подозрительными типами.

— Вот видишь, Володя, — заметила Надежда Константиновна. — А ты любишь расхаживать, да еще напевать при этом. . . Придется тебе отказаться от этой привычки!

Владимир Ильич послушно склонил голову: ничего не поделаешь. . .

В комнате, где они разговаривали, стояла у стены этажерка с книгами. На ее верхней полке

Владимир Ильич увидел фотографию Галочки и Сережи. Осторожно сняв карточку, он долго ее рассматривал. Какая-то тень легла на его лицо.

— Как они доехали? Как устроились? — спросил он задумчиво.

Маргарита Васильевна ответила, что сестра ее Верочка, сопровождавшая детей, уже вернулась в Петроград. Доехали они благополучно, устроились неплохо. Галочка живет в Уфе, учится, а маленького Сережу дедушка взял в деревню. . .

Ленин внимательно слушал ее.

— У меня к вам просьба, Маргарита Васильевна! Попросите вашу сестру зайти сюда в ближайшее время. Я сам хотел бы с ней побеседовать.

Потянулись конспиративные будни. «Квартирант» упорно работал. Он писал за тем же самым столом, за которым Галочка готовила уроки. В свободные минуты тренировался, чтобы ходить не стуча ботинками.

В один из вечеров, когда сидели за столом и пили чай, Ленин вдруг спросил у хозяйки:

— А вы помните, что за вами одно невыполненное обещание? Где же ваша сестричка?!

Маргарита Васильевна была удивлена: не забыл о таком, казалось бы, малозначительном обстоятельстве!

Вскоре она привела на Сердобольскую свою младшую сестру. Это была молоденькая девушка; все называли ее Верочка, но Владимир Ильич неуклонно именовал ее Верой Васильевной. Он пылливо выспрашивал, долго ли они ехали, в каком вагоне — теплушке или пассажирском, — тяжелая

ли была посадка, как питались, не болел ли кто-нибудь в дороге, как встретили в Уфе.

После ухода Верочки он снова подошел к этажерке, где стояла фотография Галочки и Сережи.

— Не кручиньтесь, Маргарита Васильевна! — голос его звучал как-то особенно мягко. — Скоро вы увидите своих ребят... И, пожалуйста, сообщайте мне, когда приходят весточки из Уфы...

В начале октября Владимир Ильич впервые вышел из квартиры. Маргарита Васильевна не спала всю ночь. Она непрерывно подходила к окну, точно могла разглядеть что-нибудь в осенней тьме. Дождь барабанил в стекла, скрипели деревья. Казалось, что никогда не настанет рассвет.

А в это время на Карповке в конспиративной квартире заседал Центральный Комитет партии большевиков. По докладу Ленина была принята резолюция о вооруженном восстании.

Разошлись поздно ночью. До Сердобольской было далеко, лил проливной дождь. Эйно Рахья, сопровождавший Ленина, предложил переночевать у него в Певческом переулке.

Под утро, смешавшись с толпой рабочих, Владимир Ильич вернулся на Сердобольскую — весь промокший, забрызганный грязью.

— Ну и столица, — шутливо жаловался он, — невозможно выйти без галош, а кто их любит, галоши?!

Прошло несколько дней, и он снова ушел с Рахья. На этот раз заседание Центрального Комитета партии происходило не очень далеко от дома — на Болотной улице. Несмотря на бессонную ночь, Владимир Ильич был бодр, свеж, глаза у него



блестели. Посмеиваясь, он рассказывал, как ветром сорвало у него шляпу вместе с париком и как он догонял ее...

* * *

И вот пришло двадцать четвертое октября тысяча девятьсот семнадцатого года — последний день последнего подполья Ленина и начало величайшего в истории революционного переворота.

В эти дни Маргарита Васильевна, как она потом вспоминала, все время находилась в безостановочном движении. Выполняя задания Военно-революционного комитета, она забывала о сне, об усталости. Участник и свидетель событий, о которых до сих пор пишут сотни книг, она была в огромном белоколонном зале Смольного, когда небывалые, еще не слыханные здесь овации, казалось, потрясли его стены. Стоя на трибуне, Ленин выразительно показывал на часы — хватит, довольно, пора начинать. Но шквал аплодисментов нарастал еще больше. Рабочие, солдаты, матросы, крестьяне приветствовали вождя революции. Многие видели его впервые.

На исходе третьих суток в длинном полутемном коридоре Смольного, забитого людскими толпами, к Фофановой подошла Надежда Константиновна.

— Ты знаешь, Маргарита! Ильич ужасающе устал, едва держится на ногах! Я просто боюсь за него! . . . Как хотелось бы на несколько часов в твою тишину. . . Пока еще у нас нет квартиры. . .

Действительно, глава правительства огромной страны, на территории которой могли бы свободно поместиться три Америки, еще не обзавелся своей

квартирой. По-видимому, он меньше всего думал об этом.

Прием на Сердобольской улице, как написали бы в дипломатическом коммюнике, проходил в атмосфере сердечности. После скромного ужина Председатель Совнаркома удалился в знакомую ему комнату, где так недавно проживал в качестве К. П. Иванова, и после нескольких суток нечеловеческого напряжения уснул в ничем не нарушаемой тишине. . .

Утром Владимир Ильич с особенным удовольствием подходил к окнам, расхаживал по квартире, постукивая каблуками. При этом он довольно громко напевал излюбленный с юности романс:

Нас венчали не в церкви
Не в венцах, не с свечами,
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных.

После завтрака, уже собравшись в Смольный, он подошел к этажерке с фотографией:

— Маргарита Васильевна! Письма получаете? . .
Ну, теперь уж недолго осталось ждать встречи с детьми.

Но события, которые начались вскоре после Октября, отодвинули эту встречу.

Четырнадцать держав поднялись войной на Советскую страну. К лету три четверти территории молодой Советской республики оказались в руках белогвардейцев и интервентов.

Перестали приходить письма из Уфы. Ничего нельзя было узнать о судьбе Галочки и Сережи. Уфу заняли белые.

* * *

Как было подсчитано, одна серьезная американская газета успела в течение года пятьдесят семь раз сообщить о «гибели Советской власти», «о разгроме Красной Армии», о том, что «Ленин сбежал в неизвестном направлении».

А Красная Армия тем временем громила белогвардейцев, отбирала назад захваченные города. А ленинская воля, ленинское слово вдохновляли миллионы людей на новые подвиги в тылу и на фронте.

Наступила очередь Уфы.

Колчак знал, что потерять Уфу — потерять весь Урал. Он требовал, чтобы Уфа продержалась до прибытия подкрепления из Сибири. Но было уже поздно. Под огнем вражеских орудий и пулеметов части Красной Армии переправились на правый берег реки Белой. Уфимские рабочие, рискуя жизнью, жертвуя ею, помогали нашим бойцам — пригоняли лодки, плоты.

Уфа была взята.

Тысячи людей с красными знаменами вышли на встречу победителям. Но была еще одна задача у нашего командования. Согласно личному распоряжению Председателя Совнаркома, первая воинская часть, которая ворвется в Уфу, должна разыскать детей товарища Фофановой Маргариты Васильевны и немедленно отправить их в Москву.

Первой ворвалась в Уфу прославленная Чапаевская дивизия.

Распоряжение Ленина было выполнено в точности.



КРЕПКАЯ ПОДПИСЬ

3то был день второй или третий от Октябрьской революции — в точности установить невозможно. К парадному подъезду огромного казенного дома на Гороховой улице подошел мужичок в армяке, опоясанном бечевкой, с торбой за плечами.

Тяжелые двери оказались полуоткрыты, и это

выглядело необычно. Такие двери всегда бывают внушительно затворены, так что не всякий решится подойти к ним с первого раза.

Потоптавшись у входа, мужичок настороженно вошел в беломраморный вестибюль и огляделся. У стены, рядом с высоченным зеркалом, как и полагается, сидел непременный страж присутственных мест — в синей ливрее с золотыми галунами и с роскошной бородой веером.

Мужичок глянул на швейцара с выжидательной опаской, но тот даже не шевельнулся. Положив ладони на ручки кресла, глядя прямо перед собой, он как бы окаменел.

Покашляв тихонько, мужичок спросил:

— Которое начальство... из новых... тут оно?

Швейцар не ответил. Он сидел так же неподвижно. На его мясистом лице застыло странное выражение — и оскорбленное и растерянное.

Мужичок постоял, изучающе поглядывая на швейцара, потом произнес с растяжкой: «Да-а-а... дела-а-а...» — оглянулся еще раз и шагнул к мраморной лестнице.

И здесь тоже был явный непорядок: ковровая дорожка с медными прутьями сдвинулась вбок, валялись исписанные бумаги, на белых ступенях расплывались мокрые следы. Подымаясь по лестнице, мужичок оставлял такие же следы за собой, и похоже было, что он оттискивает их со старанием, точно желая, чтобы они подольше сохранились.

В длинном коридоре слышались голоса. Навстречу шел высокий, плечистый матрос с деревянной кобурой на боку. Поравнявшись с мужичком,

поглядел с высоты своего роста на мятый картуз, на торбу, на пегую бороденку и спросил молодым баском:

— Ты, батя, кого-нибудь дожидаясь?

— Узнать требуется... который назначенный из нового начальства... Здесь они будут?

— Народный комиссар, что ли?

— Во-во! — обрадовался мужичок. — Допустимо пройти к нему? Дело есть!

Матрос осторожно взял его под локоть:

— Шагай, батя, вот до той двери с дощечкой. Там спроси товарища Коллонтай. Она и есть народный комиссар.

Мужичок озадаченно посмотрел на него:

— Стало быть, комиссар... вроде бы... — Он замялся, подыскивая подходящее слово. — Вроде бы... из женского сословия?

— Совершенно правильно, батя, — матрос широко улыбнулся. — Но ты не сомневайся! Это сословие еще покажет себя...

Подтянув торбу, мужичок зашагал по коридору, но у двери с дощечкой круто остановился, точно перед ним возникло неодолимое препятствие. Смотревший ему вслед матрос сложил руки рупором:

— Батя! Смелее! Не опасайся!

Услышав бодрую команду, мужичок толкнул дверь и оказался в темноватом, холодном кабинете с пугающе огромным письменным столом. Он не сразу увидел, что у другого стола — небольшого, обыкновенного — сидела женщина с пышными светлыми волосами, в пальто, накинутом на плечи, и писала.

— Вы ко мне, товарищ?

Мужичок произнес нерешительно:

— Мне бы... комиссара от народа...

Она улыбнулась:

— Это я! Садитесь, пожалуйста... Садитесь, садитесь, — настойчиво повторила она, — в ногах правды нет...

Он неловко сел на краешек кожаного кресла, снял картуз, порылся в подкладке и протянул ей клочок бумаги. Там было написано в одну строку знакомым бисерным почерком:

«А. М.! Выдайте ему сколько там причитается за лошадь из сумм госпризрения. Ленин».

Александра Михайловна Коллонтай долго разглядывала бумажку, глаза у нее улыбались. Маленькая записка хранила интонацию, взгляд, жест ее автора. Наверно, писал на ходу, положив клочок бумаги на подоконник или прижав его к стене...

Можно было ожидать, что сейчас последует длинный, сбивчивый рассказ со всяческими подробностями и отступлениями. Но мужичок говорил кратко и складно и даже такие трудные слова, как «реквизиция» и «компенсация», произносил почти без запинки. Ясно было, что эту историю он рассказывал уже не раз. Сам-то он из недалних крестьян — новгородский. В шестнадцатом году реквизировали у него лошадь для военной нужды. Дали бумагу, что выплатят компенсацию. Покуда дожидались той компенсации, скинули Миколу-царя. Что тут делать? Решил отправиться в питерскую столицу. Больно хорошая лошадь. Жалко. Сколько годов копили, отдали за нее полсотенную бумажку.

Вот с той поры и ходим. Полоска незапаханная, прохарчился до последнего. А ответ такой со всех сторон: «Кончим войну с победой — и получишь свое...» А в иных местах вовсе не желают разговаривать и не допускают. Особенно дворники эти с бляхами, писаря да швейцары становятся поперек.

— А здешний швейцар вас не задерживал?

— Не-е-е... Сник! Одна борода осталась! — на морщинистом темном лице явилась неожиданная озорная улыбка. — А борода что? Она и у козла растет! Так что тут хвастоваться нечем!

У народного комиссара в голубых ярких глазах засветились смешливые искорки. Вопрос о швейцаре был задан неспроста. Не далее как вчера осанистый, бородатый страж не пустил в министерство государственного призрения только что назначенного народного комиссара Коллонтай: «Не велено принимать прошений!»

Напрасно Александра Михайловна объясняла, что пришла сюда не с прошением, — он твердил свое: «Знаем, знаем, все вы не с прошениями, а потом за вас нагоняй от начальства!»

Так было вчера. А сегодня даже чуть привстал, когда она вошла в вестибюль. Как говорится, сдвиги налицо...

— А как вы с товарищем Лениным повстречались?

— В караулке повстречались! Я там у земляков ночевал! Нынче вроде бы идет замирение с германцем, так земляки прибыли с фронту и состоят в смольном карауле. Ленин туда и зашел. Поздненько было, ребята меня за ноги с нар: «Вот Ленин

тут, обращайся!...» Поговорили мы с ним честь по чести. Хотя, говорит, это и царский долг, а мы не собираемся за их отвечать, но этот выплатим! — Мужичок испытующе поглядел на свою внимательную слушательницу. — Какое будет решение? Выплатят?

— Товарищ Ленин — Председатель Советского правительства. Его распоряжение должно быть выполнено. . . Идемте, товарищ!

Мужичок едва поспевал за невысокой, стремительно двигавшейся женщиной. Они прошли через несколько пустых комнат с беспорядочно сдвинутыми столами и стульями, раскиданными повсюду бумагами. «Да-а-а, — бормотал мужичок, оглядываясь по сторонам, — дел-а-а. . .»

В просторной комнате, куда они вошли, было посветлее от длинного ряда окон, выходявших на улицу. И тут все стояло как придется, вкривь и вкось, и грудями валялись бумаги. Возле приземистого стального шкафа сидел на корточках парень в замасленной кепке, в руках у него шипела паяльная лампа.

У другого шкафа, с приоткрытой дверцей, стоял матрос с винтовкой. Женщина в платочке и мужчина в канцелярских нарукавниках разбирали на столе папки с бумагами и конторские книги. А поодаль в странных, напряженных позах сидели два представительных господина: один — в форменном сюртуке, второй — в черной паре с выпуклой крахмальной грудью. Позади них поместился матрос — еще выше и шире, чем тот, который повстречался мужичку в коридоре.

— Первый номер готов, Александра Михай-



ловна! — сказал парень в кепке. — Скоро и второй откроем!

Господин в черном с грохотом отодвинул стул и вскочил. Почему-то бок и плечо у него были испачканы мелом и весь он, с нечистой крахмальной манишкой, с жидкими, растрепанными волосиками на багровой лысине, походил на проигравшегося бильярдного игрока.

— Я выражаю протест! — выкрикнул он, задыхаясь. — Здесь происходит ограбление со взломом... среди бела дня.

Сидевший с ним рядом господин в форменном сюртуке проскрипел:

— Это насилие! Меня подняли с постели!..

Коллонтай подошла к ним почти вплотную:

— Советская власть предложила вам остаться на своих местах и продолжать работу! — жестко сказала она. — Но вы, господа чиновники, и ваши коллеги предпочли действовать по-другому: спрятали ключи от сейфов, уничтожили и разбросали деловые бумаги, все тут разорили, перевернули и разбежались. Но дети в приютах, старики, увечные, тысячи других людей, слабосильных и беспомощных, не могут ждать, когда вы сообразовите переменить свои позиции... Советская власть не позволит, чтобы остановилась работа, от которой зависит существование таких людей. Не желаете отдавать ключи — сами откроем! — Тонкие брови у нее сдвинулись, глаза потемнели. — А вас доставили сюда для того, чтобы все произвести в вашем присутствии! При вас сосчитаем каждую копейку, все запишем. А потом можете говорить и кричать, что угодно... Товарищ Королева! — обратилась она

к женщине в платочке, разбиравшей папки. — Товарищ Королева, вы назначаетесь главным кассиром. . . Да, да, я предвижу ваши возражения! Вы — так называемая низшая служащая, нет опыта и все прочее. . . Ничего, товарищ Королева! Научимся!

На другой день бульварные газетки неуменно острили по поводу находчивой Коллонтай, которая на посты ответственных чиновников назначила истопников, лифтеров и уборщиц. То-то пойдет работа!

Но работа все-таки пошла — со скрипом, но пошла. . .

Обернувшись к мужичку, который не сводил с нее удивленно-восторженного взгляда, Александры Михайловны произнесла не без торжественности:

— У этого товарища, трудового крестьянина, реквизируют в прошлом году единственную лошадь. Ни у царских чиновников, ни у Временного правительства он не мог добиться уплаты обещанной компенсации. Сегодня ему выдается пособие — первое при Советской власти!

Господин в черной паре подпрыгнул на стуле:

— Протестую! Реквизированные лошади не относятся к министерству государственного призрения, это по военному ведомству! Где основание для выплаты, где оно?!

— Основание? Извольте!

Господин в черной паре недоуменно уставился на протянутый ему листок бумаги.

— Возьмите, возьмите, — спокойно сказала Коллонтай. — Ознакомьтесь!

Точно боясь обжечься, он взял бумажку за

самый краешек, скользнул по ней взглядом и про-
цедил:

— Не п-понимаю! Что значит — выдайте ему?
Кто, где, откуда? А штамп? А печать? А номера вхо-
дящий и исходящий?

— Взгляните на подпись!

Придвинув бумажку поближе, господин в чер-
ном долго держал ее перед глазами, потом дернул
короткой шеей, точно ему давил воротник.

— Вот оно, основание! — весело сказала Кол-
лонтай. — Нам другого не требуется! Могу вас
заверить, что это очень крепкая подпись. И чем
дальше, тем крепче она будет. Советую подумать об
этом, господа. Вы, кажется, не заметили, что про-
изошла великая народная революция!

И точно в подтверждение ее слов, задребезжали
стекла в широких окнах и приглушенный звук пу-
шечного залпа донесся до ушей присутствующих.
Залпы следовали один за другим, сотрясая стекла.
Похоже было, что вдали выколачивают гигантский
матрац. . .

А мужичок тем временем поставил закорючку
в свежеразлинованной ведомости и, прошупывая
каждую бумажку, стал пересчитывать деньги. Пере-
считал два раза, засунул их в подкладку картуза,
оглядел всех и, как бы испытывая неловкость,
быстро, мелко перекрестился.

— Слава тебе, господи! Наша взяла!

* * *

Если бы этому мужичку сказали тогда, что и он
займет местечко в Истории Великих Октябрьских

Дней, — он бы, наверно, только усмехнулся в пегую бороденку:

— Какая такая история? Скажете тоже. . .

А между тем так и произошло. Имя его не сохранилось, но сам он, со своей торбой, в армячке, опоясанном бечевкой, со всеми своими словечками, навсегда остался на страницах воспоминаний как первый человек, получивший по записке Ленина первое пособие от Советской власти.



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Подошел к концу декабрь, уже стоял на пороге новый, восемнадцатый год, а в кабинете Ленина по-прежнему горел свет по ночам.

— Спит по три-четыре часа в сутки, а теперь и совсем перестал спать. — С тревогой говорила Надежда Константиновна. — Доработался до бессон-

ницы. Мозг не отдыхает ни минуты. А скажешь об этом — один ответ: «Потом, потом отдохну! Сейчас не время!».

Этими же словами отвечал Ленин и ближайшим товарищам, когда те предлагали ему сделать хотя бы небольшой перерыв в работе. Необходимо было как-то уговорить Владимира Ильича отдохнуть, но как?

Выход из этого нелегкого положения нашел Яков Михайлович Свердлов. Он предложил, чтобы Центральный Комитет вынес специальное решение о том, что товарищу Ленину предоставляется кратковременный отпуск с обязательным условием не заниматься государственными делами и пребывать все дни отпуска на свежем воздухе. Это решение Владимир Ильич сочтет для себя обязательным. Как известно, Ленин — образец партийной дисциплины.

Так и было сделано. Сообщить Ленину о решении Центрального Комитета поручили Свердлову.

— Трудненько мне пришлось, — рассказывал потом Яков Михайлович. — Только заикнулся об отпуске, а Владимир Ильич сразу: «Нашли время. Кого это озарило?» — «Всех, всех, — говорю, — озарило, ибо это необходимо, Владимир Ильич! А главное, — говорю, — есть замечательное местечко на примете: и близко и удобно. Александра Михайловна Коллонтай сообщила, что по Финляндской дороге, за Териоками, при санатории «Халила», имеется отдельный домик — теплый, светлый. Кругом тишина, сосны, хвойный воздух. Вот туда бы вам и съездить ненадолго...» Ох, и посмотрел на меня Владимир Ильич! — улыбнулся Свердлов. — Вы же знаете, как

он умеет. «Что ж, — говорит, — раз Цека вынес такое решение, — я обязан подчиниться, но...» Не договорил, только рукой махнул. От охраны и отдельного вагона отказался категорически. Заявил, что поедет обычным пригородным поездом. По-другому ни за что. Зато сопровождать будет Эйно Рахья... Он все организует...

Это имя Свердлов не случайно произнес с таким значением. Эйно Абрамович Рахья был верным, испытанным товарищем, неизменным связным Владимира Ильича в опасные дни последнего подполья. Теперь он был назначен комиссаром Финляндской железной дороги.

Отъезд Председателя Совнаркома был организован именно так, как того хотелось Владимиру Ильичу — без малейшей шумихи. Собственно, и организации тут почти никакой не потребовалось.

Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной заняли места в открытом купе обыкновенного дачного вагона. Сидели здесь и другие пассажиры. А за окном была «сиротская зима», и трудно было поверить, что сейчас, по старому календарю, сочельник, канун рождества.

Серые капли дождя ползли по оконным стеклам, мокро блестела платформа. Соответственно такой погоде оделись и отъезжающие. На Владимире Ильиче было осеннее пальто и кепка. Спутницы его тоже в осеннем.

Провожатых по случаю отъезда Ленина не предусматривалось, но незадолго до отбытия поезда в вагоне появилась запыхавшаяся Коллонтай. Двое молодцов-матросов несли за ней монументальные овчинные шубы и меховые шапки с ушами.

— Александра Михайловна, что сие означает?! — удивился Ленин. — Что это вы еще придумали?

— Не сомневалась, что все вы поедете налегке. Это в Питере осень, а в Териоках зима. До вашего домика придется ехать на санях порядочное расстояние. Предвидя ваши возражения, сразу же сообщаю о происхождении этих одеяний. — Александра Михайловна отвернула полу у шубы, показала нашитый инвентарный номер. — С наркоматовского склада. Под вашу личную ответственность на время отпуска.

— Пожалуй, на таких условиях мы воспользуемся вашими шубами, — примирительно сказал Ленин. — Так вы полагаете, что они нам понадобятся?

— Еще как! Сами увидите! А кроме того, могут понадобиться и финские деньги. На какие-нибудь непредвиденные расходы. Я тут обменяла наши рубли на финские марки. Сумма небольшая.

— Очень вам признателен, но сейчас у меня нет русских денег, чтобы отдать, — забеспокоился Владимир Ильич.

— Поверьте, я буду спать спокойно, если вы отдадите их не сейчас, а позже, — засмеялась Александра Михайловна и пожелала Ильичам (так называли семью Ульяновых ближайшие товарищи) доброго пути и хорошей поправки. . .

Замелькали знакомые места, знакомые станции. Владимир Ильич, смотревший в окно, вдруг повернулся и сказал:

— Придумали мне рождественские каникулы, а? Слушали и постановили!

— С тобою иначе и нельзя, — ответила Надежда Константиновна с видимым удовольствием. — На-шли и на тебя управу!

Владимир Ильич хитро прищурился, как бы говоря: «Ну, это мы еще посмотрим!»

Проехали Белоостров, и за ним начался настоящий зимний пейзаж. Потянулись ели и сосны в прочной белой одежке, провода с намерзшими гроздьями снега. Небо отсвечивало холодной голубизной. Входили и выходили пассажиры, и из дверей тянуло морозным воздухом.

На станции Куоккала на освободившееся в купе место села пожилая женщина в старом полушубке, в теплом платке. В руках у нее была большая вязанка сухого хвороста, которую она пристроила себе под ноги.

Пассажирка, сидевшая напротив, заговорила с ней по-фински:

— Славные дровишки. Где вы такие раздобыли? Теперь так трудно что-нибудь купить или достать!

— А я не доставала и не покупала. Пошла в лес и набрала столько, сколько могу унести. . .

— Да что вы говорите?! — изумилась пассажирка. — Как же это вам удалось? А эти стражники с ружьями? Они же всех задерживают, кто хоть щепку поднимет. Наверно, не заметили вас?

— Заметили! Еще и полвязанки не собрала, а он уже тут!

— Кто он?

— А человек с ружьем!



— И как же? — пассажирка вся подалась вперед. — Штраф? Протокол?!

— Ни того ни другого, — спокойно ответила женщина в платке. — Стал вместе со мною собирать хворост, прибавил к моей вязанке да еще показал, как ближе пройти на вокзал.

Изумление пассажирки достигло наивысшего предела.

— Знаете, мне просто не верится! — воскликнула она. — Это настолько удивительно. . .

— Да, но я уже не удивляюсь, — ответила женщина в платке и добавила с некоторой торжественностью: — Теперь настало другое время. Теперь не надо бояться человека с ружьем.

Владимир Ильич тихонько спросил у Рахья:

— О чем они? Поспорили? Чем-нибудь довольны?

— Нет, совсем другое. Беседа интересная.

— Переведите, пожалуйста.

Наклонившись к своему соседу, Рахья стал негромко пересказывать содержание только что слышанного разговора.

Ленин слушал с напряженным вниманием, все время поглядывая на женщину в платке, как будто хотел покрепче ее запомнить. Поезд проскочил тем временем короткий перегон до следующей станции. Женщина подняла свою вязанку и пошла к выходу.

Некоторое время Владимир Ильич сидел, почти вплотную сомкнув веки, точно вслушиваясь в свои мысли.

— Поразительно! Поразительно, с какой точностью и глубиной она выразила то, что думает и чувствует сегодня наш народ! . . Теперь не надо бояться

человека с ружьем! Как это сказано! Не прибавить и не убавить ни одной буквы... Только не позабыть бы, — озабоченно добавил он и быстро достал из кармана записную книжку.

Рахья молча смотрел, как скользит карандаш по бумажному листку. Так бывало уже не раз, когда Ленин неожиданно останавливался на чем-нибудь оброненном слове, заметке, наблюдении, мимо которого прошли сотни людей, ничего не усмотрев. И вдруг, точно на ладони, Владимир Ильич показывает всем, какой глубочайший смысл скрывается за незначительным, казалось бы, фактом.

Трудно постигнуть, что так захватило его в словах этой простой женщины, жительницы какого-нибудь из здешних финских поселков. Это было известно только самому Ленину.

Но вот, короткое время спустя, находясь на заседании Третьего съезда Советов, где выступал Владимир Ильич, Эйно Рахья услышал:

— Я позволю себе рассказать один происшедший со мной случай. Дело было в вагоне Финляндской дороги, где мне пришлось слышать разговор между несколькими финнами и одной старушкой. Я не мог принимать участия в разговоре, так как не знал финского языка, но ко мне обратился один финн и сказал: «Знаете, какую оригинальную вещь сказала эта старуха? Она сказала: теперь не надо бояться человека с ружьем. Когда я была в лесу, мне встретился человек с ружьем, и, вместо того чтобы отнять от меня мой хворост, он еще прибавил мне».

Когда я это услышал, я сказал себе: пускай сотни газет, как бы они там ни назывались — социа-

листические, почти социалистические и прочие, пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам: «диктаторы», «наильники» и тому подобные слова. Мы знаем, что в народных массах поднимается теперь другой голос; они говорят себе: теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Вот что народ почувствовал, и вот почему та агитация, которую ведут простые, необразованные люди, когда они рассказывают о том, что красногвардейцы направляют всю мощь против эксплуататоров, — эта агитация непобедима. . .

За несколько дней до Нового года народному комиссару Коллонтай доставили записку из Смольного. Прочитав ее, Александра Михайловна подумала с огорчением: «Значит, уже вернулся».

Вот что было в этой записке:

«Посылаю Вам с благодарностью и в полной сохранности шубы из инвентаря Вашего Наркомата. Они нам оченьгодились. Нас захватила снежная буря. В самом «Халила» было хорошо. Финских марок пока не посылаю, но я приблизительно подсчитал, что составляет это в русских деньгах, то есть 83 рубля, их и прилагаю. Знаю, что у Вас неважно с финансами. Ваш Ленин».

В одном из томов собрания сочинений Ленина помещены статьи: «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое», «Как организовать соревнова-

ние», «Проект декрета о потребительской кооперации».

При жизни Ленина эти статьи не печатались. Он считал их незаконченными, незавершенными. Но закончить так и не удалось — не хватило времени. Писал их Владимир Ильич в том самом финском домике, где провел свой короткий отпуск.

— А решение о том, чтобы не заниматься? А пребывание на свежем воздухе? — напоминали ему Надежда Константиновна и Мария Ильинична.

— Второй пункт я, во всяком случае, выполняю. Форточка у меня открыта днем и ночью — и свежий воздух поступает непрерывно. А насчет первого пункта... гм... тут возможны кое-какие оговорки: решение вынесли в отсутствие того лица, которого оно касалось, а это уже есть отступление от устава. Вот и я позволяю себе некоторое отступление, — лукаво улыбнулся Владимир Ильич. — Однако я надеюсь, что вы не будете на меня жаловаться.



Н О В Ы Й Г О Д

На исходе старого, тысяча девятьсот семнадцатого года почту, которая приходила на имя Ленина, сравнивали с нескончаемым, все возрастающим потоком.

Бывало и так, что письма, доставленные за сутки, не помещались в трех больших мешках.

Но ни одно письмо не оставалось непрочитанным, нерассмотренным; эту работу Ленин считал наиважнейшей.

Все, что было значительным в этой гигантской почте, все, что требовало внимания, ответа, докладывалось Председателю Совнаркома и устно, и в виде сводок. Он сам прочитывал сотни писем и почти всегда этим начинал свой рабочий день.

Незадолго до Нового года, в числе многих других писем, Владимиру Ильичу передали письмо в роскошном кремовом конверте, какие были уже тогда не в ходу. В конверте находился приглашенный билет, отпечатанный на старорежимной веленовой бумаге.

Вечером, на заседании Совнаркома, показывая товарищам роскошный конверт с билетом, Владимир Ильич, очень довольный, сказал:

— Выборжцы зовут Надежду Константиновну и меня на встречу Нового года. Обратите внимание на программу: концерт, танцы под духовой оркестр. И даже ухитрились отпечатать билет в типографии. Вот они какие, выборжцы. . .

В те напряженно-суровые дни эта повестка, обсуждавшаяся на заседании Выборгского районного Совета выглядела не совсем обычно.

Слушали: О встрече первого советского Нового года.

Постановили: 1) Организовать встречу так, как это достойно великой исторической даты; 2) местом встречи избрать актовый зал бывшего Михайловского юнкерского училища; 3) послать приглашение

товарищам Ленину и Крупской; 4) казначею райсовета И. Гордиенко отпустить необходимые средства; 5) составление программы поручить председателю культкомиссии райсовета Лебедеву К. и поставить его отчет на ближайшем заседании.

Председатель культкомиссии был страстный театрал, поклонник всех искусств. Был он очень молод — даже в официальных бумагах его запросто именовали товарищем Костей.

Уже через несколько дней товарищ Костя представил проект грандиозного новогоднего вечера. Программа была такая: опера «Сорочинская ярмарка» в концертном исполнении артистов бывших императорских театров; инсценировка «Прощанье со старым годом»; праздничная елка; танцы под духовой оркестр.

Программа была одобрена, но не полностью. Сомнение вызвали два пункта: праздничная елка и танцы. Насчет елки мнение присутствующих было единодушным: ввиду того, что этот обычай связан с религиозным праздником бывшего рождества, считать подобное мероприятие неуместным.

Танцы вызвали жаркую дискуссию. Нашлись товарищи, утверждавшие, что танцы являются наследием недавно свергнутого буржуазно-помещичьего строя. Другие доказывали, что и народ любит потанцевать. Эта точка зрения нашла поддержку большинства, но тут один из присутствующих выступил с заявлением такого рода: если товарищи Ленин и Крупская смогут откликнуться на приглашение выборщиков и будут присутствовать на вечере, как взглянется им на все эти вальсы, польки и краковяки?

— Очень хорошо взглянется! — решительно заявил Иван Чугурин, старый партиец, встречавшийся с Лениным еще в парижской эмиграции. — Ильич любит жизнь, и этим все сказано. Пусть молодежь танцует!

Так решил этот вопрос, который особенно волновал товарища Костю, яро защищавшего интересы молодежи. Теперь можно было вплотную браться за выполнение порученной ему задачи.

Нам, жителям шестидесятых годов, почти невозможно представить, как трудна была эта задача. В городе, объявленном на военном положении, голодном и промерзшем, с наглухо заколоченными витринами магазинов, почти не имеющем света, воды, топлива и средств передвижения, требовалось сотворить чудо: добыть хоть из-под земли доски, гвозди, краски, сценический реквизит, материал для занавеса, дрова для отопления огромного концертного зала и для типографии — иначе не напечатают пригласительные билеты. А ведь все хотелось устроить по-настоящему, широко, празднично.

И еще нужно было найти плотников и полотеров, электриков и музыкантов, художника и настройщика и вести сложные переговоры с артистами бывших императорских театров, быть и дипломатом, и агитатором, и расчетливым хозяйственником. Деньги почти ничего не значили в ту пору, а возможности для вознаграждения продуктами были у Кости весьма мизерны...

Наиболее легко и благополучно разрешилось дело с музыкантами: выручили боевые товарищи из Московского пулеметного полка, расквартированного на Выборгской стороне, — обещали прислать

духовой оркестр. И с художником на редкость повезло: нашелся художник — представитель нового, революционного искусства, как его отрекомендовали, — мрачный юноша с дикой шевелюрой и в блузе из мешковины, который согласился совершенно безвозмездно оформить и зал и сцену.

Единственное его условие было такое: он рисует при закрытых дверях, иначе говоря, никто не должен видеть его труды до их полного завершения. Товарищ Костя с готовностью согласился. Лично ему, единственному, было дозволено заглядывать изредка в зал и на сцену.

Остальные товарищи из культкомиссии, разумеется, проявляли законный интерес к тому, как продвигается художественное оформление. Особенно напирал казначей Илья Митрофанович Гордиенко, он же батько — так его прозвали еще в подполье за черные запорожские усы. Дело тут было не в каком-то недоверии к товарищу Косте, но все же батьке хотелось узнать, каковы результаты израсходования государственных средств.

Всем этим любопытным товарищам председатель культкомиссии со значительным видом объяснял:

— Творческий процесс. Понимать надо. Нельзя вторгаться. Но зато уж рисует, доложу я вам. . .

Здесь Костя начинал задыхаться от восторга, ему не хватало слов, и он убегал.

Вот так и случилось, что культкомиссия смогла заглянуть в зал чуть ли не за полчаса до начала вечера. Когда члены культкомиссии вошли в зал, разом вспыхнули все источники света, и глазам присутствующих открылось «ужасающее зрелище»,

как вспоминал потом батько Гордиенко: занавес представлял собой нечто, похожее на серую глухую стену, на которой выступили разноцветные разводы плесени.

Но главное творение таинственного художника помещалось в центре большого полотнища, укрепленного над занавесом. Это был густо намалеванный малиново-красный квадрат, от которого во все стороны расходились лучи, похожие на оглобли. По бокам квадрата, упираясь в него ногами, лежали на спинах два человекоподобных существа в синих робах.

Дико перекошенные физиономии этих странных существ походили на отражения в кривых зеркалах Народного дома — излюбленного развлечения петроградцев. Но там это было смешно и весело, а здесь...

— Здесь мы видим перед собой произведение нового, революционного искусства, — заговорил Костя тоном музейного экскурсовода. — Идея, заложенная в нем, такова: для нас все так же солнце станет... Вот здесь вы видите это самое солнце с лучами... К сожалению, художник не успел оформить колонны...

Потрясенная культкомиссия безмолствовала. Первым заговорил батько Гордиенко, как всегда в минуты волнения, вмешивая в свою речь украинские слова.

— Це сонце? — подступил он к Косте. — Да ты что, смеешься? Ты бачил такое сонце на небе? Бачил, я тебя спрашиваю?

— Не надо все понимать так буквально! — нервно ответил Костя. — Это называется футуризм! Происходит от слова «футурум», что означает буду-

щее... И, конечно, тут требуется известная подготовка...

— А ты, значит, подготовился! — нахмурился батько. — Теперь понятно, почему тот хвутурист от людей ховался, — он обернулся к членам культкомиссии. — Скажите, други, что теперь будем делать?!

Но делать что-либо было поздно. Уже заняли свои места контролеры, и до начала вечера оставалось считанное время...

Последний вечер старого года ничем не отличался от других декабрьских вечеров. Так же темно и пусто было на улицах Петрограда. Пронзительный ветер свистел в прямых, строгих набережных, сдувая колючий снег с ледяной поверхности Невы. И странным, неправдоподобным выглядело в этой бескрайней тьме огромное здание с ярко освещенными окнами, с зажженными фонарями у подъезда.

В бывшее Михайловское юнкерское училище пришли не виданные здесь прежде гости: металлисты со старого «Леснера», рабочие с «Айваза», «Нобеля», «Парвиайнена», ткачихи с большой Сампсониевской мануфактуры. Рядом с солдатскими гимнастерками, обмотками, рабочими блузами, грубыми сапогами — давно не надеванные костюмы, воротнички, галстуки-бабочки, прически, туфли на каблучках.

Белоколонный зал сверкает огнями и чистотой. Зрители нетерпеливо поглядывают на свежесколоченную дощатую сцену, где настраивает инструменты симфонический оркестр. И всюду — в фойе, в зале,

на сцене, за кулисами — мелькает фигура Кости Лебедева в наутюженной черной паре.

Начинается праздничный концерт. Все идет отлично, замечательно, но организаторы встречи в напряженном ожидании. То один, то другой спускаются вниз, выходят на набережную. Она все так же пустынна. Квадраты света лежат на снегу, но достаточно отойти немного в сторону — и сразу погружаешься в темноту. Только на том берегу Невы, за Литейным мостом, видно шевелящееся огненно-рыжее пятно. Это красногвардейский пост разжег костер.

Отзвучала «Сорочинская ярмарка». На сцене появляется «Старый год» — в зипуне, в мохнатой шапке, с клюкой — и произносит прощальную речь: да, прошло, прошло его время, пора уходить, но он надеется, что не зря пожил на свете и что будет чем помянуть его в грядущих веках. . .

В зале раздвигают стулья, освобождают место для танцев. На сцене размещаются трубачи. Взмахнул палочкой капельмейстер, и первые пары заскользили по натертому паркетному полу. . .

Время летит. Нет, не смогут, наверное, приехать сегодня дорогие гости из Смольного.

Батько Гордиенко собрался уходить. Одежда у него в артистической, за сценой. Чтобы не пробираться одетым через зал, не мешать танцующим, он решает пройти черным ходом. Здесь, на узкой полутемной лестнице, тускло светит угольная лампочка.

Навстречу ему поднимаются двое; шапки, воротники у них запорошены снегом. Гордиенко прислоняется к перилам: кто бы это мог быть в такой поздний час?

И вдруг сердце у него начинает стучать гораздо сильнее, чем ему положено.

— Владимир Ильич! Надежда Константиновна! Почему здесь? Мы ждали вашу машину с набережной.

— Заехали как-то неудачно, не с той стороны... еле нашли лестницу. — Ленин стряхивает снег с воротника, здоровается. — Извините, что так запоздали. Раньше никак не могли.

У Гордиенко дрожат руки от радости; вот счастье-то, что не успел уйти. Он выводит гостей в коридор. Их встречают мощные раскаты духового оркестра, дружное притоптывание каблучков.

Вспомнив дискуссию о танцах, Гордиенко осторожно поглядывает на Ленина.

— Весело у вас! — одобрительно улыбается Владимир Ильич. — А нельзя пройти как-нибудь этак... понезаметнее?

— Понезаметнее? — Гордиенко задумывается. — Разве что через сцену!

Они идут к лесенке, ведущей на сцену. На встречу попадается товарищ Костя — одновременно и сияющий и страшно озабоченный. Батько тянет его за рукав, говорит на ухо коротко, быстро:

— Оркестру — «Интернационал»!

Костя бросает молниеносный взгляд на гостей, круто поворачивается и взбегает по лесенке. Гости поднимаются на сцену. Идут, стараясь держаться поближе к стенке. И вдруг смолкает оркестр. Танцующие пары недоуменно останавливаются: что такое? Ведь танец не закончился!

Неожиданно на полную мощь гремит меднотрубый «Интернационал». Короткое замешательство —

и точно прибой устремился к сцене. Теперь уже никуда не укрыться дорогим гостям. Владимир Ильич улыбается уголками глаз. Перехитрили все-таки. На воротнике у него еще поблескивают нерастаявшие снежинки.

А шквал аплодисментов гремит все сильнее.

Владимир Ильич подходит к краю сцены, вынимает часы, показывает на них. Он поздравляет выборщиков с Новым годом. Говорит о трудном и необыкновенном счастье строить новое, еще не виданное в истории государство трудящихся. О том, что молодой Советской республике придется отстаивать себя в тяжелой борьбе, но что народ, который создал Советскую власть, не может быть побежден.

В ответ ему гремят такие аплодисменты, которых никогда не слыхивал этот зал, — такие, что закачались подвесные хрусталики в массивных люстрах под высоким потолком.

Комнату, расположенную сбоку от сцены, организаторы вечера постановили считать буфетом. Здесь имеются стулья, столы, и на одном из них — небольшой кипящий самовар. Угощение поставлено богатое — чай настоящей заварки, ржаные сухари, липкие конфеты-подушечки.

Много знакомых оказалось здесь у Владимира Ильича и Надежды Константиновны, много нашлось общих воспоминаний. Были среди приглашенных и те самые красногвардейцы со старого «Парвиайнена», которые летом несли охрану Ленина, когда он жил у своих на Петроградской стороне. И сейчас они на-

помнили ему об одном чаепитии, которое было там однажды.

— Помню, помню!—засмеялся Владимир Ильич.

Охранять Ленина приходилось незаметно: очень уж он не любил этого.

Как-то, воспользовавшись отсутствием брата, Мария Ильинична позвала красногвардейцев попить чайку. Только уселись за стол, как неожиданно вернулся Ленин.

«А, товарищи выборжцы! Очень приятно!» — и тоже присел выпить стакан чаю.

Глаза у него хитро щурились: «Так, так! Из вашего разговора я вижу, что пришли вы не ко мне да и не к Марии Ильиничне. Уж не занимаетесь ли вы охраной моей персоны?»

Разумеется, выборжцы отнекивались — кстати сказать, очень неумело — и, конечно, были «разоблачены» вместе с Марией Ильиничной.

— Маша, не отпирайся! Ты вместе с ними в заговоре! Я же знаю! . .

Сейчас, вспомнив об этом случае, посмеялись, а потом один из красногвардейцев сказал:

— Слыхали мы, товарищ Ленин, что вы по-прежнему пренебрегаете охраной, а бываете везде и всюду!

— Вы, что же, хотите, чтобы меня держали в коробочке, — отшутился Ленин, а потом добавил уже серьезно: — Мы не имеем права отсиживаться и прятаться. Мы обязаны постоянно встречаться с народом!

А рядом, за дверью буфета, гремел оркестр, танцы следовали один за другим. Дорогие гости вышли посидеть в зал, посмотреть на танцующих.



Не сговариваясь, десятки рук бережно подняли их на воздух вместе со стульями и стали «качать» — таков был тогдашний обычай, когда люди хотели выразить свои хорошие чувства.

— Товарищи, товарищи, — шутил Владимир Ильич, — не слишком ли высоко вы меня возносите?! Как бы голова не закружилась... С Надеждой Константиновной полегче...

Тем временем дирижер танцев громко объявил вальс «Березку».

Молоденькая ткачиха подошла к Ленину:

— Владимир Ильич! Разрешите вас пригласить?!

— Надя, ты слышишь, меня приглашают на тур вальса! — Ленин повернулся к смущенной девушке. — К сожалению, не могу принять ваше приглашение — не умею! Но сейчас мы это исправим!

Придерживая девушку под руку, он подвел ее к дирижеру танцев:

— Вот вам кавалер для вальса!

Около трех ночи Ленин и Крупская собрались уезжать; об этом Владимир Ильич потихоньку сообщил кое-кому из выборжцев.

— Только уж теперь без оркестра, прошу вас. А то начнем прощаться и всех спугнем. Думаю, на нас не обидятся за такой уход.

Так и сделали. Сопровождаемые Гордиенко, Костей Лебедевым и еще несколькими товарищами, гости незаметно ушли тем же черным ходом.

Погода переломилась. Потеплело, падал мягкий снег, ночь сделалась светлее. У видавшего виды ли-

музина, на котором ездил Председатель Совнаркома, возился шофер.

— Хороший был у вас вечер, товарищи выборжцы, очень хороший, — сказал Ленин, — но немножко, по правде говоря, вы и обмишурились. Не объясните ли вы мне, что это за чудовища развешаны у вас над сценой? Прямо какие-то ночные кошмары!

Товарищи выборжцы молчали.

Много лет спустя, когда черные запорожские усы батьки Гордиенко стали уже белыми, он рассказывал нам, людям другого поколения, об этом коротком разговоре с Владимиром Ильичем.

— Поглядел я на Костю, — рассказывал Гордиенко, — и чую, как тот хлопец сварился — вот-вот дым с него пойдет! Хотел я его «сдать», чтоб он высказал Ильичу про эту самую «хвутуризму», да пожалел: уж больно растерялся парень!.. Хорошо еще, думаю, что Ильич занавеса не видел, — он был поднятый весь вечер. Да и колонны не успел футурист обработать — тоже удача. . .

— Мои собеседники молчат?! — Ленин подождал секунду. — Ну что ж, я бы на вашем месте тоже затруднился ответить, что означает сия многокрасочная пачкотня. А ведь мы, товарищи выборжцы, великое русское искусство не отменяли. Оно для нас остается образцом. Хорошая картина приносит человеку радость, согласны? А тут? Если по-честному. . .

— Ошибочка вышла, Владимир Ильич! — мрачно пробасил батько Гордиенко.

— Ошибочка, говорите? — быстро повернулся к нему Ленин. — Тогда следует ее немедленно исправить. Знаете, что я бы сделал на вашем месте? Побы-

стрее убрал бы эту, с позволения сказать, живопись, пока рабочие не рассмотрели ее как следует. Они вас освищут, ей-ей! Очень советую торопиться. . . А все остальное было хорошо!

Приглушенно постукивающий мотор громко затарaxтел. Ленин сердечно попрощался с провожающими. С трудом преодолевая снежные завалы, машина выбралась на набережную.

За Литейным мостом, на повороте, от ярко пылавшего костра отделилась фигура в тулупе, опоясанная солдатским ремнем, с винтовкой на плече. Шофер затормозил, протянул удостоверение.

Пожилой красногвардеец долго рассматривал книжечку в матерчатом переплетике, потом обернулся к товарищам и сказал вполголоса:

— Ребята! Ильич!

Красногвардейцы, сидевшие у костра, поднялись. И, точно в ответ на их невысказанное желание, отворилась дверца машины.

— С Новым годом, товарищи! — звучно произнес Ленин. — И с новым счастьем!

— И вас также, товарищ Ленин! — ответил за всех пожилой красногвардеец. — Дай бог и вам. . . — он запнулся, крякнул с досады и сконфуженно пробормотал: — Оговорился. . . по старой привычке. . .

Владимир Ильич улыбочиво сощурился.

— А костер у вас богатый, товарищи! Вы, кажется, отапливаете его железнодорожными шпалами?

Пожилой красногвардеец шагнул к машине.

— Шпалы эти бракованные, Владимир Ильич! — взволнованно говорил он. — В дело уже не годны!

Они свое отслужили... Вот мы их и жгем понемногу...

— Принял к сведению! — улыбнулся Ленин. — Но какое освещение! Прямо хоть газету читай! — Он расстегнул пальто, достал часы на ремешке. — Мы с вами прожили в Новом году уже три часа и пятнадцать минут... Надо спешить. До свидания, товарищи!

Красногвардейцы молча смотрели вслед отъехавшей машине. Вот она, нечаянная и такая волнующая новогодняя радость — минутка с Лениным.



КАК ПОЮТ „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ В РОССИИ

Пронзительный холод пустого, месяцами не топленного Михайловского манежа не пугает тех, кто собрался здесь на митинге. Это народ закаленный, воистину прошедший огонь, и воду, и медные трубы: солдаты, матросы, рабочие с оружием всех видов и образцов.

Чтобы согреться, они поют частушки, прыгают, борются друг с другом. Сизый махорочный дым плавает в воздухе. С треском вспыхивают смолистые факелы — тогдашнее освещение манежа, если не считать единственной лампы посреди неоглядно огромного потолка. Свет от нее падает на броневику — признанную трибуну Октябрьской революции.

У входа возникает какой-то, сначала неясный, гул и, разрастаясь, волнами докатывается до самых отдаленных уголков манежа.

Ленин быстро проходит к броневику. По крайней мере, человек двадцать хотят ему помочь. Он легко опирается на чье-то подставленное плечо, легко всходит на бронированную площадку.

— Все же у меня есть некоторый опыт по части броневику!

Прищурясь, он ждет, когда утихнет шквал, вызванный сотнями крепких ладоней, потом поднимает руку, как бы говоря: «А не хватит ли, товарищи?»

Наконец устанавливается тишина—полная, глубокая; слышится только потрескивание факелов. И в этой тишине с необыкновенной отчетливостью звучит хрипловатый от утомления голос Ленина.

Мы, живущие сегодня, с неизъяснимым волнением вглядываемся в скупые кадры кинохроники, сохранившиеся от тех неповторимых лет. Какое-то общее выражение видим мы на суровых, исхудавших лицах людей, которые шагают с винтовками, слушают оратора, ворочают скелеты разбитых машин, таскают бревна на субботниках, — на них отсвет великого времени, слитность своей личной судьбы с судьбой революции.

Далеко не все из этих людей умеют читать и

писать, произнести без запинки недавно пришедшие к ним трудные слова «империализм», «капитализм», но они первые нанесли сокрушительный удар этому опившемуся кровью хищнику.

И вот частица этой могучей, гневной силы, из которой вскоре вырастет Красная Армия, один из первых ее отрядов, перед отправкой на фронт слушает напутствие Ленина. В том, что говорит Ленин, жесткая правда о сегодняшнем дне и бесконечная уверенность в победе. И заканчивает он свою речь словами, которые и сейчас звучат повсюду, где народ поднимается против своих душителей:

— Победа или смерть!

Огромный митинг отвечает залпами мощных хлопков. Ленин сходит с броневика, становится немного в сторонке, рядом с Фрицем Платтенем, швейцарским коммунистом.

Очередь за следующим оратором.

На трибуне солдат в старой, обтершейся шинели, с винтовкой, с походным мешком за плечами. Видно, как он волнуется, как шевелятся желваки скул на небритых щеках.

— Товарищи! Я три года сидел в могиле, которая называется окопом. Хотел пробираться домой, да вот, оказывается, еще рановато! Винтовку свою я не бросил, вот она винтовочка-то!.. Скажу вам, как фронтовик, видевший своими глазами: крепко мы напугали у германцев и австрийков ихнее высшее начальство! Страшнее им, чем всякие снаряды, два слова: Совет! Ленин!—Он с веселым торжеством огляделся на все стороны. — А сейчас, товарищи, обращаюсь к вам с просьбой: еще когда я сидел в окопах, то составил собственное стихотворение.



Конечно, как умел! Прошу разрешить мне огласить его перед вами! . .

Если бы о митинге в Михайловском манеже были помещены в газетах обстоятельные отчеты, как делается нынче, то в этом месте, в скобках, было бы напечатано так: (Веселое оживление в зале. Выкрики: «Давай, не робей!»)

Товарищ Ленин быстро переводит по-немецки товарищу Платтену, что оратор прочтет стихи собственного сочинения. Платтен восклицает: «О, как это интересно!»

— Стихотворение товарищу Ульянову-Ленину! — произносит солдат.

Полная неожиданность для Владимира Ильича. Он даже чуть отходит назад, точно хочет укрыться за своими соседями.

Громким, окрепшим голосом солдат начинает:

Привет тебе, наш вождь народный,
Защитник права и идей,
Кристалльно чистый, благородный,
Гроза богатых и царей!

Семья трудящихся, голодных
В твоих рядах, в борьбе — твой щит!
Их легион, — сынов народных,
На страже — верит, победит!

Солдатскому поэту выражают бурное одобрение. Очень к месту прились его стихи. И Владимир Ильич, который так не любит, когда о нем говорят или пишут что-то хвалебное, аплодирует вместе со всеми: он понимает, какими чувствами продиктованы безыскусственные строчки солдата.

— Слово предоставляется социалисту из Аме-

рики товарищу Вильямсу! — говорит председатель митинга Подвойский.

На броневик взбирается высокий молодой человек в русском овчинном тулупе и шапке-ушанке.

— Прекрасно, прекрасно! — оживленно говорит Владимир Ильич. — Выступайте, а я буду вас переводить!

Но Вильямс храбро отвечает, что выступать будет по-русски. В глазах у Владимира Ильича загораются веселые искорки: ну что ж, посмотрим, что из этого получится!

«Что бы ни делал иностранец с их языком, русские остаются благожелательными и снисходительными, — с сердечным юмором и теплотой вспоминал потом Альберт Рис Вильямс об этом выступлении. — Они умеют ценить если не умение, то, во всяком случае, старание начинающего! Поэтому моя речь прерывалась продолжительными аплодисментами, которые каждый раз позволяли мне перевести дух и найти несколько слов для следующего короткого броска. . .»

Но все-таки их не хватало, этих трудных русских слов. Остановки, перебои в речи оратора делаются все чаще, и когда он хочет высказать самую главную свою мысль, наступает мучительная пауза. . .

И тут сразу же приходит «скорая помощь».

— Какого слова вам не хватает? — быстро спрашивает по-английски Владимир Ильич.

— Enjist!

— Вступить!

— О, вступить! — бодро подхватывает оратор. — Я имею вступить. . . армия. . . Совет!

Дружные аплодисменты. Разгоряченный Виль-

ямс сходит с трибуны. Оказывается, одно из самых лучших средств для согревания — это произносить речи на языке, который плохо знаешь.

Семнадцатый год знал три гимна; его встречали с «Боже, царя храни», потом зазвучала «Марсельеза», а к своему окончанию он пришел с «Интернационалом».

Когда на Марсовом поле хоронили жертв Февральской революции, только оркестр кронштадтских моряков умел его исполнять. А теперь «Интернационал» грозно звучит всюду.

— Обратите внимание, в Европе иначе поют! — говорит Платтену Владимир Ильич, выходя из маже. — Там поют: «Это будет последний и решительный бой», а у нас народ внес поправку: «Это есть наш последний и решительный бой. . .» Да, бой уже наступил, но последний ли он?!



ПО ДОРОГЕ В МОСКВУ

Поезд приближался к Москве. В крайней теплушке, где ехала охрана, непрерывно топилась печурка. На воле свирепствовал мороз, который еще недавно называли крещенским. Над станционными поселками стоймя держались белые дымки, похожие на оплывшие свечи.

Когда поезд остановился у какой-то подмосковной станции, один из красноармейцев (товарищи называли его «старшой»), кряхтя, натянул шинель, надел суконный шлем-шишак, полевую сумку, нацепил кобуру и сказал, что сходит проверить вагоны. Теперь, когда до Москвы остались считанные версты, можно, пожалуй, не опасаться всякого рода неожиданностей, которых было так много за их долгий и тяжкий путь.

Придирчиво оглядывая запечатанные вагоны, старшой дошел до конца платформы и спустился — точнее, съехал по скользким ступеням прямо в снежное поле. Отсюда как будто начинался совсем другой мир. Недвижимо стояли замерзшие серебряные березки — кажется, только дотронься до них, и они зазвенят. Было очень тихо, и в этой застывшей тишине отчетливо слышался короткий, жалобный звук: какая-то из этих нежных березок не выдержала стужи, дала трещину. Небо над далеким горизонтом наливалось свирепым багровым заревом: Московская губерния встречала морозом под стать сибирскому.

Старшой постоял, поежился и пошел обратно. На платформе не было обычной посадочной кутермы, охрана не пропускала к маршрутному составу, но у крайней теплушки почему-то собралась небольшая толпа.

Старшой прибавил шаг: похоже на происшествие. Еще издали он отметил в толпе длинного парня в фуражке. Рядом стояло несколько женщин, замотанных в платки, железнодорожники в черных, промасленных шубах. Тут же находилась и введенная ему охрана. Маленький приземистый крас-

ноармеец наклонился к старшему и продышал в ухо:

— Что делается, а? . . Сам Ленин тут!

Старшой строго посмотрел на своего подчиненного, как бы желая установить, все ли у того в порядке. Скуластое лицо маленького красноармейца выражало восторг и удивление.

— Вот! — шептал он. — Который с бородкой. . . который с начальником станции.

Полный мужчина в добротном романовском полушубке, в папаше с молоточками, стоя навывтяжку, говорил округлым басом:

— Разрешите, товарищ Предсовнаркома, еще раз рекомендовать вам вызвать локомотив. Мы тотчас же свяжемся с центральным депо. Я не вижу другого способа, который позволил бы вам быстрее и удобнее доехать до Москвы. А пока что мое помещение всецело к вашим услугам. Могу вас заверить, товарищ Предсовнаркома, что там достаточно тепло и чисто.

«Товарищ Предсовнаркома», — медленно произнес старшой про себя, и сердце у него толкнулось под шинелью. — Значит, факт. . . действительно!»

Он несмело взглянул на невысокого плечистого человека в барашковой ушанке, с лицом, точно загоревшим на зимнем солнце.

— Вызывать специальный паровоз для двоих?! — Ленин в упор посмотрел на начальника станции. — Абсурднейшая затея! Не понимаю, почему нельзя уехать вот этим поездом. Ведь он движется на Москву, а не в обратном направлении!

— Товарищ Предсовнаркома! — почти просто-на-нал начальник станции. — Разрешите доложить.

Кроме этой теплушки, мы ничего не можем вам предоставить. Здесь содержится охрана!.. Неподобающие для вас условия. Как же вы поедете?!

— Как? Очень просто! Как все, так и мы! Когда отправляется поезд?!

Круглое лицо начальника станции стало медленно багроветь.

— В настоящее время, товарищ Предсовнаркома, мы продвигаем составы вне графика. Разрешите выяснить и доложить вам.

Он приложил руку к папаше с молоточками и побежал на станцию. Даже спина у него была какой-то ужасно озабоченной.

Ленин проводил его сощуренным взглядом и отвернулся.

— А как вы себя чувствуете, товарищ? — обратился он к длинному парню в фуражке. — Все-таки не следует так рисковать собственными ушами! Вы не боитесь обморозиться?!

— Не обморожусь, товарищ Ленин! — радостно закричал парень. Голос его срывался на мальчишеский дискант, на щеках рдел румянец. — У меня имеется шапка, товарищ Ленин! Кенгуровая, теплая! Просто не попалась под руку. Схватил чью-то фуражку — и скорей за вами... Я ведь самый первый вас узнал, как вы только вошли в Совет... Еще никто не узнал, а я узнал.

Слушая его, Ленин неодобрительно покачивал головой, но глаза у него улыбались.

Подскочил запыхавшийся начальник станции:

— Товарищ Предсовнаркома, поскольку вами выражено желание следовать данным составом, разрешите доложить: отправляем через шесть-семь ми-

нут. . . Кто тут у вас командует? — отрывисто спросил он у красноармейцев.

Старшой как-то не понял сразу, что вопрос относится к нему. Потом, точно опоздавший на перекличке, неуверенно отозвался:

— Я!

— Так что ж вы тянете! Потрудитесь обеспечить. . .

— Ничего не надо обеспечивать, — нетерпеливо произнес Ленин. — Абсолютно ничего!

Уже не слушая, что ответит начальник станции, старшой с силою рванул двери теплушки. Густо пахнуло прогорклым махорочным дымом, подгоревшей пищей. Половина вагона была забита досками, а в другой едва размещались двухъярусные нары, грубо сколоченное подобие стола, полкасамоделка; ближе к выходу стояла «буржуйка» с проржавленной трубой и десятка полтора отпиленных чурбаков. Осторожно, точно боясь прищемить голову, начальник станции заглянул внутрь теплушки; плечи у него приподнялись.

— Что это вы так расстраиваетесь, товарищ?! — насмешливо спросил Ленин. — Отлично доедем, уверяю вас!

Он взялся за поручни, с удивительной легкостью подтянулся на руках, шутиливо поторапливая своего спутника:

— Поспешайте, поспешайте, батенька! Мы же пускаем на ветер драгоценное тепло.

Раздался drobный свисток. Уже на ходу старшой влез в вагон, притянул двери и, поспешно схватив обструганную доску, начал пристраивать ее возле печурки.

Ленин дотронулся до его плеча:

— Убедительно прошу, товарищи, ничем меня не обеспечивать. Никаких усовершенствований! По-едем так, как вы ехали до сих пор. Да и ехать-то нам осталось немного.

Он придвинул к себе чурбак, снял задубевшие на морозе рукавицы.

— Ну и попали мы с вами в историю! — обратился он к своему спутнику. — Каково?!

— Да уж! — не сразу ответил тот и, взяв рукавицы, стал пристраивать их вместе со своими поближе к теплу. От его полушубка запахло бензином. «Шофер, — подумал старшой. — Видать, что-то у них произошло! Переживает».

А Ленин, подшучивая над своим помрачневшим спутником, уже рассказывал о «путешествии с приключениями». Пришлось сегодня побывать под Москвой, а на обратном пути взял да отказал мотор — замерз. Кое-как доползли до поселкового Совета, оставили машину на хранение, а сами — на станцию...

Красноармейцы молча смотрели на своего необычного пассажира. Всего лишь в шаге от них сидел вождь революции, чье имя пришло к ним в окопы еще на германском фронте, и с той поры с этим именем связано все: и конец жестокой войны, и терзаний голода, и начало другой жизни, в которую так пламенно поверили миллионы...

Внимательно поглядывая на них, Ленин стал расспрашивать, кто и откуда родом, пишут ли кому-нибудь из деревни, какие грузы везут, сколько дней в пути. Он крепко и с удовольствием потер руки, когда услышал, что в этом составе следуют из

Сибири вагоны с обмундированием, медикаментами и консервами из числа трофеев, взятых у Колчака. Еще не очень давно все эти припасы поступали в адрес белого адмирала, но Красная Армия направила их совсем по другим адресам. . .

Во время этого разговора не обошлось и без казусов: очень уж трудно было усидеть, когда Ленин обращался с вопросом. Точно какая-то пружина подбрасывала с места. И каждый раз он настойчиво повторял: «Сидите, товарищ, зачем вы встаете!»

Разговорчивее и бойчее других оказался маленький приземистый солдатик. Он почти один отвечал на все вопросы.

— А вы, товарищ, ранены на фронте? — спросил Владимир Ильич у высокого, очень худого красноармейца с забинтованной шеей.

Тот вскинул растерянные глаза на старшего, потом вскочил, с грохотом повалив чурбак, на котором сидел:

— Так точно, товарищ Предсовнаркома! — выкрикнул он окающим тенорком. — Имею полученное касательное ранение правой нижней конечности под Воронежем. . . А касательно шеи, — голос у него сник, лицо приняло сконфуженное выражение, — на шее у меня. . . фирункели. . .

— А почему вы все-таки встаете, товарищ? — Ленин укоризненно покачал головой. — Это совершенно лишнее. И зачем перечислять все чины и звания, хватит и фамилии. . . Вы же не начальник станции! — добавил он, усмехаясь.

Высокий красноармеец опять растерянно поглядел на своего начальника. Старшой вспыхнул, потянул его незаметно за шинель: «Садись». Ему

казалось, что все получается как-то очень нехорошо, неловко. Он никак не мог совладать со своим волнением, говорил сдавленным голосом и больше шуровал в печурке, все время подкладывая в нее сухие коротенькие дровишки. Маленькая «буржуйка», похожая на школьный волшебный фонарь, источала каленый жар, ее железные бока светились насквозь.

— Боюсь, что вы перестараетесь, товарищ, — в голосе Ленина слышалась улыбка. — Вы нас просто испечете. . .

Старшой поднял на него глаза. Удивительное чувство испытывал он: это было и открытие, и подтверждение того, в чем он был неосознанно, но твердо убежден: **ЛЕНИН НЕ МОГ ОКАЗАТЬСЯ ДРУГИМ. ТОЛЬКО ТАКИМ МОГ БЫТЬ ЛЕНИН.** И неожиданно для себя, открыв полевую сумку, достал пачку каких-то листков.

— Может, поинтересуетесь? — застенчиво спросил он. — Заморские штучки. Наклеены были на ящики с консервами. Пообрывались кое-где. . .

Ленин взял протянутые листки. Это были фабричные наклейки с надписями чуть ли не на всех языках мира, даже с японскими иероглифами. Рисунки на них изображали тучных коров на ярко-зеленых пастбищах, барашков с золотыми рогами, розовые свиные головы и рядом — корону с двумя львами. . .

— Да, весьма занятно! — Ленин неторопливо разглядывал цветные наклейки. — Как говорится, не в коня корм. Зря их кормила Антанта, не оправдали надежд. — Он аккуратно сложил листки и подал их старшому. — Замечательная коллекция.



История интервенции на консервных банках. Надо ее сохранить!

Старшой просиял.

— Собрал их — и в сумку! Думаю, все равно растопчут. . . У меня, товарищ Ленин, сестра проживает в Москве. Не виделась с пятнадцатого года. Детишки там имеются. Вот везу им вроде бы игрушки. . . Пусть глядят. Интересно все-таки!

— Безусловно! — с готовностью согласился Ленин. — Поучительно для детей и взрослых!

Тем временем бурно вскипел выдавший виды чайник-инвалид. Старшой поспешно достал с полки жестяную коробочку, высыпал какую-то заварку в кипяток.

— Кавказский сорт! — пояснил он. — Называется сушеный кызыль!

Очень хотелось предложить Ленину испробовать, но так и не решился. Спутник Владимира Ильича точно угадал его мысли и сказал:

— Надо бы выпить горячего с мороза. . . Очень полезная вещь.

Не дожидаясь ответа, он достал из сумки две оловянные кружки, совершенно такие же, какие держали в руках красноармейцы. Старшой осторожно наполнил кружки коричневатой жидкостью. Запахло чем-то приятно-кислым.

— А вы знаете, недурной напиток! — сказал Ленин, сделав несколько маленьких глотков.

Старшой приподнялся, но тут же сел обратно. Даже росинки пота выступили у него над верхней губой. Наконец он не выдержал:

— Товарищ Ленин! Как же это вы. . . без сахара?!

— А вы что, товарищ, всегда пьете с сахаром? — добродушно сощурился Владимир Ильич.

— Кто, мы?! — В голосе у старшего послышалось какое-то удалство. — Мы-то?!

Он схватил с нар тощий мешок, вытряс из него бумажный пакет и тут же нетерпеливо надорвал его; в пакете оказался большой, неровный осколок сахарной головы.

— Вот!—торжествующе воскликнул старшой.— Сейчас мы его, голубчика, тукнем тяжелым предметом. . .

— Не нужно, товарищ, не тюкайте!

Рука, державшая порванный пакет, задрожала.

— Большое спасибо, товарищ, — мягко сказал Ленин, — но в самом деле не нужно. Сахар вы везете в подарок сестре и детям. . . вместе с картинками. Ведь правда? Вот и положите его обратно в мешок. А мы пока еще попьем «с таким», как нынче выражаются. . .

Он оглядел исхудавшие, обросшие, точно опаленные лица красноармейцев, их скоробившиеся, потемневшие гимнастерки, грубые обмотки, огромные, уже отслужившие все сроки армейские ботинки, и глаза его посуровели:

— Как с пайком? Удовлетворительно сколько-нибудь или совсем неудовлетворительно?

— Ничего, живем помаленьку! Выдали сухим, как положено. Варим!

Старшой взглянул на своих товарищей, как бы приглашая их подтвердить, что они живут помаленьку.

— Сухой паек — штука серьезная! — Ленин задержался взглядом на самодельной полке, где стоял

солдатский котелок с деревянными ложками. — Тут нужна архиточная раскладка на каждый день, а то можно попасть впросак!

— Мы раскладку соблюдаем; нельзя без раскладки!.. Правда, налетели мы тут на одно дело, малость потоньшели с нашим пайком. — Старшой усмехнулся и махнул рукой. — Ну, да это уже проехало!

— Потоньшели с пайком? — удивленно спросил Ленин. — Вам что, недодали? Или сами забежали вперед?

Старшой помедлил с ответом.

— Да нет, товарищ Ленин, тут получилось другое дело... так, один неправильный эпизод!.. Длинная история.

— А все-таки расскажите, что у вас такое вышло?

Старшой молчал. По его огорченному лицу было видно, что он сожалеет о том, что начал вспоминать про какой-то совсем неинтересный, по его мнению, случай.

— Разрешите, товарищ Ленин, закурить в вашем присутствии?! — неожиданно попросил он.

— Курите, конечно! И спрашивать об этом не нужно. А потом рассказывайте!

— Запах тяжелый от нашего табаку, — виновато сказал старшой, вытряхивая из кисета на ладонь махорочную пыль.

Прикурив сигарку от уголька, он сделал несколько торопливых затяжек и передал ее товарищам, которые с плохо скрываемой жадностью смотрели ему в руку.

— Значит, начало будет такое, — хмурясь, заго-

ворил он. — Прибываем мы на станцию Чубукономерной, и открывается у нас тяжелая неприятность: из восьми вагонов два долой — горят буксы. Требуем у начальства сделать перегрузку, а у них другая резолюция: свободного порожняка не имеют, да и перегружать некому. Наши бракованные вагоны решают отцепить, и чтоб мы поставили свою охрану, а насчет остальных — отправить по назначению. . . Значит, получается так: выхватят кусок из состава, да еще оставляй людей! А нас всего пятеро бойцов. Зимнего обмундирования не имеем. Питание рассчитано, как в аптеке. А что означает привести неполный состав в Москву? Это же прямоком под ревтрибунал!

Старшой с некоторой робостью взглянул на своего слушателя: так ли сказал?

Ленин сидел подавшись вперед.

— Так ничего и не договорились! — продолжал старшой. — Что сделаешь? Ихняя сила! . . Ставлю тогда своих бойцов на посты, даю команду не допускать к вагонам — вплоть до применения — а сам иду в глубокую разведку. В конце концов выяснил, что имеется у них порожняк. Кидаюсь к начальнику, коменданту — говорят, отбыли по вызову на дрезине, а без них никакого постановления принимать нельзя. . . И ждали мы этого начальника трое суток. Я, можно сказать, живу на вокзале. Дежурю. Как-то утром отлучился на десяток минут, бегу обратно, а к нему уже вот такой хвостик! Пришлось выдерживать недоразумение с этой очередью, особенно с дамской прослойкой, но все-таки я к нему пробился.

Сидит там у него какой-то парнишка, еще какие-то лица, но я с ходу приступаю со своим

наболевшим вопросом. «Разве, — говорю, — вы не знаете, какой мы везем груз и как его ждут?! Тем более — вы имеете для перегрузки свободный резерв! Как же можно задерживать при таких обстоятельствах?!» Молчит. Показалось, что раскачал человека. А он вдруг кулаком по столу: «Я перед вами не отчитываюсь! Не нарушайте оборот транспорта! Как указано, так и будет!» Очень крупно мы с ним объяснились! — Старшой прикрыл рот ладонью, осторожно покашлял, видимо боясь, как бы не выразиться чересчур сильно. — Вылетаю на платформу, а парнишка, который там сидел, — вместе со мной. Кричит мне вслед: «Стойте, товарищ! Учтите, что не бывает безвыходных положений! Из всякого положения находится свой выход!»

— Это он так сказал? — быстро спросил Ленин. — А кто такой?

— Точно так сказал, товарищ Ленин! Я вам передаю его слова, как записанные. А сам — молодой, от силы лет пятнадцать-шестнадцать. Шапка больше головы, ватник с прожженными дырами. Спрашивает, где находятся наши вагоны. Привел его к составу. Он постоял, подумал: «Вот что, — говорит, — идемте! Сегодня вечером у нас открывается конференция рабоче-крестьянской молодежи. Посоветуемся с товарищами. А я, кстати, секретарь Укомола. По дороге объясняет мне, что железнодорожники очень их уважают, то есть молодежь: субботники тут устраивали, расчищали пути, топливо заготавливали и все такое. . .

Приходим в бывший буржуазный особняк. Шум, звон, сутолока. Где-то песни поют. В одной комнате выпускают стенновку, в другой подбирают «Интер-

национал» на мандолине и балалайке. Показали мне и кухню. У них там каждый делегат доставил свой продукт, какой возможно. Кашеварят вовсю. . . Только мы начинаем разговор, прибегает боец из нашей охраны, как раз вот этот! — старшой показал на коротенького красноармейца. — Язык на плече, еле дышит: «Слава богу, что сразу нашел. Скорей, скорей — вагоны отцепили! К пакгаузу подают!»

Побежал с ним на станцию. Тот парнишка-секретарь тоже с нами. Команда моя мечется, вагоны отцеплены. Кричу парнишке: «Ну что, где твой выход из каждого положения?!»

«Выход есть, — отвечает. — Оставляйте охрану к вагонам, а сам поезжайте! А весь данный вопрос будет поставлен сегодня же на повестке. Всей конференцией выйдем на субботник! Все сделаем! И погрузим и отправим! Факт!»

Так или не так — перетакивать некогда. Оставляю двоих бойцов в охране. Отдал им овчину — имелась одна на всех. Табаку оставил, питания. Конечно, с нормой тут не слишком считались. Как-никак, люди остаются неизвестно на что. . . Только мы успели распределиться, а уж паровоз дергает. Едем. . .

День едем, другой, третий. Не сплю — все думаю, какие там дела на станции Чубук-номерной. На четвертые сутки — это в Змиевке было — доставляют нам депеш вдогонку. — Старшой расстегнул борт шинели, бережно достал из нагрудного кармана листок серой бумаги с криво наклеенными полосками телеграфной ленты. — Вот оно, товарищ Ленин!

Ленин долго смотрел на эти полоски с неясно отпечатанными буквами:

«Субботник провели вагоны перегружены отпавлены охрана здоровья сопровождает тчк с коммунистическим приветом председатель конференции Яков Косоногов».

— Дорогая бумажка, товарищ Ленин! Нам она документ! Теперь я кум королю, сват министру!.. Вот только имеем одно опасение — как бы не разминуться с товарищами. Пока они придут, нас могут в другую часть. . . Ну, я думаю, и с этим тоже разберутся!

Ленин все еще держал бумажку перед глазами.

— А вот здесь что написано? Сбоку, карандашом?

Старшой заглянул ему через плечо:

— А-а, это так, для интереса, — смущенно пояснил он. — Это когда мы с тем товарищем Косоноговым шли по коридору, ребята пели песню. Всю не успел запомнить. . . только отдельные слова записал. . .

— Неразборчиво! — сказал Ленин, поворачивая бумажку. — Может быть, вы пропоете?

— Пропеть?! — озадаченно спросил старшой. — Сказать на откровенность, товарищ Ленин, петь я остерегаюсь. С детства обижен слухом. Бывало, наши ребята поют «Вечерний звон», так мне только доверяли «бом-бом» вытягивать!

Ленин широко улыбнулся.

— Убедили! Тогда прочтите вслух!

Старшой помялся и, глядя в сторону, несмело продекламировал:

Берясь за молот и за плуг,
Запомни крепче, друг:

Винтовочку, винтовочку
Не выпускай из рук!

— А дальше не знаю, — слегка задыхаясь, закончил он. — Это у них вроде припева. . .

В вагоне слышалось только металлическое позвякивание, тягучий скрип.

— Так вы считали, что об этом не стоило рассказывать?!

Старшой сокрушенно развел руками.

— Не знал я, товарищ Ленин. . . Думалось, как же это я буду отнимать у вас время на наши байки.

— Хорошая байка, — сказал Ленин. — И про винтовочку хорошо. . .

Он задумчиво глядел на оранжевые, колко похрустывающие в печурке уголья, потом достал из кармана блокнот и положил его на чурбак, стоявший рядом. Со стороны можно было подумать, что он не испытывает ни малейшего неудобства оттого, что приходится писать в таком положении.

— Когда сдадите вагоны, сразу отправляйтесь к военному коменданту Москвы, — сказал он старшому, протягивая исписанный листок. — Я думаю, он сумеет устроить вас в Москве до прибытия товарищей. И с пайком разберутся. Вам надо дополучить то, что следует. Задержка в дороге произошла не по вашей вине.

Длинный, неистовый рев паровозного гудка ворвался в теплушку. Казалось, что машинист решил известить всю столицу о своем прибытии. Мимо проплыли неясные блики зеленых и красных огней. Гудок оборвался, и сразу стало отчетливо слышно, как звенят провода в застывшем воздухе.

— Вот и приехали, — сказал Владимир Ильич, улыбаясь уголками глаз, — и даже в весьма подходящих условиях.

Красноармейцы поднялись, как по команде, но замечаний по этому случаю не последовало. Ленин тоже встал, шагнул к ним по скрипучему тряскому полу.

— До свиданья, товарищи! Спасибо вам за вашу большую, трудную работу!



НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО

В деревянной будке, прилепившейся у Спасской башни, товарищу Иванову пришлось ждать недолго. Просмотрев бумаги, дежурный покрутил ручку телефона и громко, раздельно произнес в трубку, что прибыл товарищ Иванов из Казани с докладом от товарища Милютина.

Все было просто, обыкновенно и все-таки непостижимо удивительно. Очень трудно было представить, что сейчас, в эти минуты, вместе с тысячью других вопросов в Кремле решается еще один: когда товарищ Иванов А. В. будет принят Председателем Совнаркома.

В Москве товарищ Иванов был недавно — месяца два назад. Он работал здесь в Наркомпросе, а потом его перевели в Казань.

Когда он уезжал, в Москве была осень, а теперь ранняя зима завалила снегом огромный город. Снег пластами лежал на крышах, дыбился неподвижными белыми волнами на бульварах. В глубоких траншеях, открытых в снегу, с тяжелым гудением продвигались редкие трамваи.

Товарищ Иванов медленно шел по заснеженным улицам. Еще оставалось время до назначенных ему шести часов, и тут он вспомнил, что у него имеется одно небольшое дело.

Уезжая из Москвы, он сдал в багаж свой чемодан с немудрящим имуществом; хорошо иметь свободные руки, когда едешь в вагоне, где не повернуться.

Однако по прибытии в Казань выяснилось, что по каким-то причинам багаж не доставлен. Разбираться в этом у товарища Иванова не было времени. Раза два забегал он на станцию, но багаж из Москвы так и не пришел. И вот теперь, пользуясь удобным случаем, он решил выяснить на месте, что произошло с чемоданом. В камере хранения приемщик мрачно выслушал его.

— Ладно! Проверим! Оставьте квитанцию.

— Так ведь это когда же будет? — заволно-

вался товарищ Иванов. — Сколько же ждать? Мне чемодан нужен!

— Раньше времени не будет. Тут надо всю кладовую перетасовать!

Товарищ Иванов круто повернулся и пошел через заледеневшую платформу на вокзал. В ожидании посадки люди сидели и лежали, где придется. От дверей с истершейся медной дощечкой, где написано было с твердым знаком «Начальник вокзала», тянулась длинная путаная очередь.

Не рассчитывая на удачу, товарищ Иванов обратился к женщинам, толпившимся у двери: «У меня, товарищи женщины, застрял чемодан в здешнем багаже. Жду два месяца. А мне сегодня уезжать. Хочу спросить начальство!»

Слова эти вызвали неожиданное сочувствие, и товарищ Иванов приоткрыл дверь в кабинет. Человек в форменной шинели сидел за письменным столом и смотрел изучающе в какие-то бумаги.

Товарищ Иванов потоптался, покашлял. Неловко чувствуешь себя, когда должностное лицо видит, что к нему пришел посетитель, и все-таки продолжает заниматься своим делом.

— Что у вас? — спросил начальник, не отрываясь от бумаг. — Говорите, говорите, я слышу! . . . Квитанция цела? Оставьте заявление в багажной кассе. . . Не можете больше ждать? Но мы тоже не можем все бросить и заниматься вашим чемоданом. Я вам сказал: оставьте заявление в багажной кассе. Разберутся.

«М-да-а, — мысленно протянул товарищ Иванов. — Тут у них застрянешь, как в болоте». Потом он поглядел на часы и испугался: что-то очень уж

много они показывали. Все было мгновенно позабыто: и приемщик, и начальник, и чемодан. Через несколько минут он уже бежал по неосвещенным улицам, натываясь на снежные сугробы.

Кремль. Нижний пост. Верхний пост. Коридор Совнаркома. Мимо прошел человек в солдатских обмотках, неся на вытянутых руках длинную телеграфную ленту.

Секретарша в приемной взглянула на часы (без семи шесть!), потом в тетрадку.

Сердце у товарища Иванова билось так, как будто он быстро поднимался в гору. Он был здесь единственный посетитель. Значит, именно его ожидали ровно в шесть и никому другому не было назначено прийти в это время. И он вспомнил свой разговор с товарищем Милютиным, когда тот поручил ему срочно отвезти доклад Ленину и быть готовым ответить на вопросы Председателя Совнаркома. Видя волнение, охватившее молодого сотрудника, Милютин сказал:

— По-моему, нет на свете человека, который чувствовал бы себя неловко при встрече с Владимиром Ильичем. Вы сами убедитесь. Запомните только одно: упаси вас боже не явиться в назначенное время. Ленин никогда не заставит ждать себя, но и другим не прощает опозданий. Это в его глазах очень тяжкий проступок... Ну вот, кажется, все, — улыбнулся Милютин. — Полагаю, что вы теперь вполне подготовлены...

Секретарша вернулась из кабинета:

— Вы можете пройти к Владимиру Ильичу!

Товарищ Иванов вынул конверт из нагрудного кармана, взялся за ручку двери и переступил порог

кабинета. Ленин уже шел к нему навстречу, протягивая руку.

— Из Казани? От товарища Милютина? Садитесь, пожалуйста! Долго ехали? Четыре дня. Немало, немало. . . Как себя чувствуете?

— Чувствую? Хорошо. . . отлично, — еще не очень владея собой, ответил товарищ Иванов.

Ленин усмехнулся чуть заметно, как бы говоря: «Понимаю, понимаю, разве вы ответите иначе?» — и, взяв конверт, осторожно распечатал.

Пальцы его держали наготове карандаш с длинным, остро заточенным грифелем. Казалось, он не просто читает, а вглядывается в каждую строчку. На столе зажглась лампочка, загудел телефон. Сняв трубку, Ленин коротко ответил: «Да, обязательно», — и, точно опасаясь малейшего перерыва, тотчас же снова погрузился в чтение. Карандаш забегал по листку, делая какие-то пометки.

— А теперь у меня вопросы к вам! — Ленин слегка передвинулся вместе со стулом.

Товарищу Иванову казалось, что он видит, как напряженно работает мысль за этим высоким лбом, ищет выход, решение. Никогда еще не чувствовал он в такой мере, что является участником огромной государственной работы, которую делает вместе с Лениным.

— Казанские дела вы, что называется, знаете наизубок, — одобрительно сказал Владимир Ильич. — А как нынче показалась Москва?

— Москва — она всегда хорошая, — улыбнулся товарищ Иванов и совершенно неожиданно для себя добавил: — Только вот не хочет она заняться моим чемоданом. Осенью, когда уезжал из Москвы, сдал

его багажом на Казанском вокзале, а он так и не доехал...

Если бы товарищу Иванову, перед тем как он сюда вошел, сказали, что в кабинете Председателя Совнаркома возникнет разговор о его чемодане, он никогда бы этому не поверил. Но так обаятельно прост и приветлив был человек, сидевший напротив, что это получилось как-то само собой.

— Что же отвечают на сей счет работники Московско-Казанской дороги? — спросил Владимир Ильич. — Вы к ним обращались?

Товарищ Иванов спохватился: «Говорить с Лениным о каком-то дурацком чемодане! Это надо же!»

— Все в порядке! — заторопился он, испытывая тягостное смущение. — Никуда не денется. Найдут!

— Найдут, говорите? — Ленин пристально посмотрел на него. — Ну ладно... Вы когда выезжаете в Казань?

Товарищ Иванов незаметно вздохнул (слава богу, покончено с чемоданом) и ответил с готовностью:

— Обещали отправить сегодня в полночь с товаро-пассажирским.

Ленин кивнул головой. Видно было, что именно такой ответ хотелось ему услышать.

Товарищ Иванов взглянул на часы. Прошло около тридцати минут, но какой огромно значительной была каждая минута.

Держа в руке запечатанный конверт, Ленин вышел из-за стола:

— Письмо прошу сразу же передать товарищу Милютину... А это вам! — добавил он, протяги-



вая сложенный вдвое листок. — Желаю доброго пути. . .

В приемной комнате уже дожидались другие посетители. Два бородача неловко сидели на краешках стульев, положив на колени тяжелые, натруженные руки. Лица у них были и торжественные и встревоженные. Когда товарищ Иванов вышел из кабинета, они привстали.

«Не волнуйтесь, все будет хорошо! — захотелось сказать ему, когда он проходил мимо. — Я уже это испытал!»

А рука нетерпеливо сжимала сложенный вдвое листок. Что там может быть?

* * *

Больше сорока лет хранился этот листок у товарища Иванова, хотя он, конечно, сознавал, что ленинскую записку следует передать в музей. Что ж, можно понять человека, которому трудно было расстаться с такой дорогой сердцу памяткой о Владимире Ильиче.

Но вот в Государственном казанском музее среди драгоценных реликвий, связанных с именем Ленина, появился пожелтевший от времени листок, на котором стремительным ленинским почерком написано:

«Ст. Москва. Станция Московско-Казанской ж. д. Прошу принять к перевозке вещи, принадлежавшие подателю, служащему Казанского Губпродкома Александру Васильевичу Иванову. Прдс. СНК В. Ульянов (Ленин)».



НЕЗАРЯЖЕННАЯ КАССЕТА

Человек шел по весенней Москве, старательно обходя голубые лужи, насвистывал и весело думал: «До чего же хорошая вещь — это самое солнце! Сколько света — и совершенно бесплатно! И никаких тебе хлопот, никаких тебе вспышек магния! Нет, с сегодняшнего дня перехожу на иждивение солнца!»

На все блага, даруемые ранней московской весной, человек смотрел со своей, так сказать, колокольни: он был фотограф. И не просто фотограф, а «наш фотокорреспондент», как сообщали газеты под его снимками.

Нынешние фотокорреспонденты — щеголеватые молодые люди в светлых плащах, с красивыми кожаными футлярами через плечо — улыбнулись бы, наверное, при виде его странного одеяния из выцветшей лиловой портьеры, огромных валенок, подшитых красной резиной, а главное, его фотоаппарата, похожего на средней величины шарманку.

И все же он наверняка не согласился бы поменяться с ними: вот этой «шарманкой» он снимал самый первый советский Май, и первый субботник, и открытие первого дома отдыха, и первый танк, отбитый в бою у белых. . .

А сегодня газета поручила ему съемки в Свердловском университете на собрании партработников, уезжающих в деревню.

В огромной аудитории Свердловки плавал синий махорочный дым. В оттаявшие стекла лились широкие потоки света. На возвышении стоял стол, покрытый неровным куском кумача. На стене висела саженная карта бывшей Российской империи, исколотая цветными флажками.

Повестка дня этого собрания выглядела очень мирно: «О работе в деревне». Но люди, собравшиеся здесь, должны были в этот же день выехать в районы, охваченные кулацким восстанием, пробиваясь сквозь вокзальные пробки, железнодорожную неразбериху. . .

Фотограф повертелся тут и там, залез на подо-

конник и шелкнул первый ряд («Слушают докладчика»).

Нацелил аппарат повыше и шелкнул еще раз («Общий вид зала»).

Он суетился несколько больше, чем полагалось бы «нашему фотокорреспонденту», но это объяснялось, конечно, его молодостью — вряд ли было ему двадцать лет.

Сделав два-три снимка, он стал выискивать удобную позицию, чтобы запечатлеть докладчика возле карты с указкою в руке. И вдруг где-то в передних рядах раздались несмелые хлопки, а потом аплодисменты грянули с оглушительной, все возрастающей силой.

«Наш фотокорреспондент» растерялся: что-то такое он пропустил. Он увидел только, что все поднялись со своих мест. Пришлось изо всех сил тянуться на цыпочках да еще удерживать в равновесии громоздкую «шарманку» с треножником. С тихим ожесточением, работая свободною рукою, он стал пробиваться вперед. . .

Невысокий плотный человек в коричневом пиджаке торопливо прошел в президиум.

Сердце у «нашего фотокорреспондента» подпрыгнуло в груди, рука сжала треножник. «Это же Ленин!» — чуть не вскрикнул он.

Ленин сидел в десяти шагах от него и глядел в разбушевавшийся зал.

«Бог ты мой, — смятенно думал фотограф. — Ведь это настоящий Ленин! . . Владимир Ильич. . . И какой кадр! . . Какое освещение! . . Какой случай!»

А случай был трудный, очень трудный.

Владимир Ильич не любил фотографироваться

и разрешение на съемку давал чрезвычайно редко. Многим пришлось столкнуться с этим обстоятельством и отступить.

Прошлой весной — это было известно «нашему фотокорреспонденту» — на первомайском субботнике в Кремле Ленин резко сказал людям, хотевшим его сфотографировать: «Что за комедия? Я сюда пришел работать, а не сниматься!»

Пришлось пойти на обман. Комиссар школы кремлевских курсантов, работавший с Лениным в паре, задержался на полминутки, как бы желая отдохнуть, и Владимира Ильича осторожно и незаметно сфотографировали. Вот каким путем мир получил фотографию Ленина, работающего на кремлевском субботнике.

— Слово предоставляется товарищу Ленину, — сказал председатель.

* * *

Спустя час Ленин вышел из аудитории. Его сопровождал высокий военный, председательствовавший на собрании, и члены президиума. Продолжая разговор, Владимир Ильич надел кепку. Взгляд его случайно упал на человека, стоявшего поодаль. Человек этот сделал несколько неуверенных, робких движений, желая загородить треножник с большим черным ящиком.

Владимир Ильич, сощурившись, поглядел на черный ящик и сказал с явным неудовольствием:

— Ага, поздравляю! И здесь сниматься?! Нет уж, пожалуйста, увольте! . .

Вот и все! Можно уходить!

Но «наш фотокорреспондент» не уходил. Неожиданно для всех он заговорил срывающимся, простуженным баском:

— Товарищ Ленин!.. Ваши снимки нужны всей республике... Не мне лично!..

— Гм... вот как! — иронически заметил Владимир Ильич.

Но тут у «нашего фотокорреспондента» объявились защитники. Все стали просить Ленина сфотографироваться вместе с ними.

— Ну, если вместе... пожалуй! — неуверенно произнес Ленин.

«Наш фотокорреспондент» засуетился. Расставляя штатив и пристраивая аппарат, он делал множество ненужных движений и все время бормотал:

— Одну секундочку!.. Я сейчас!.. Одну секундочку!..

Составить группу оказалось нелегко. Каждый хотел сняться рядом с Лениным и незаметно оттирал своего соседа. Владимир Ильич терпеливо ждал.

Наконец все было готово для съемки. Набросив на себя черную материю, фотограф стал наводить объектив. «Одну секундочку! — доносилось его бормотание. — Сейчас поставлю кассету... и в одну секундочку сейчас сниму!»

Люди перед аппаратом сделали торжественно-неподвижные лица, только у Владимира Ильича пряталась в глазах смешливая искорка.

И вдруг все заметили, что с фотографом происходит что-то неладное. Он судорожно сдернул с себя покрывало, уронил на пол какую-то жестянку и схватился за голову. Люди смотрели на него

с удивлением и тревогой. Ленин быстро подошел к нему:

— Что с вами, товарищ? Вам плохо?!

— Плохо! — обморочным голосом ответил фотограф. — Я не успел перезарядить кассеты!.. У меня нет заряженных кассет!

Бессильно опустив руки, сгорбившись, стоял он возле своей «шарманки», и подбородок его с царапинами от неумелого бритья вздрагивал. Он знал, что нет ему прощения, — ему, жалкому человеку, неудачнику, испортившему эту удивительную, эту неповторимую минуту.

— Ну что же, товарищи! — сказал высокий военный, надевая солдатскую фуражку с крупной алой звездой. — Как говорится, по независимым от редакции обстоятельствам вкралась досадная опечатка... Не будем задерживать Владимира Ильича!

Но Ленин, пристально смотревший на фотографа, как будто не заметил того, что произошло. Достав из жилетного кармана часы на ремешке, он быстро взглянул на них и спросил:

— А сколько вам нужно времени, чтобы зарядить кассету?

— Мне?.. Минут... десять, — заикаясь ответил «наш корреспондент»; и его изжелта-бледное лицо покрылось розовыми пятнами.

— Минут десять я еще побеседую с товарищами! — спокойно произнес Ленин.

Фотограф схватил пачку пустых кассет, коробку с пластинками и побежал, неловко вскидывая ноги в огромных валенках.

Он бежал, как лошадь, сорвавшаяся с привязи.

Он бежал по длинному коридору, тыкался в двери аудиторий и бежал дальше. Ему нужна была темная комната, абсолютно темная комната, а солнце, на иждивение которого он перешел с сегодняшнего дня, светило с потрясающей, ослепительной щедростью.

Выскочив на лестницу, он взметнулся наверх, хватая ртом горячий воздух. Но трепещущие солнечные зайчики настигали его повсюду.

Сердце бешено стучало в горле, когда он домчался до последнего этажа. И тут он увидел, что на лестничной площадке стоит большой деревянный ящик.

Не раздумывая ни секунды, «наш корреспондент» рванул крышку. Какие-то толстые шланги лежали там, похожие на свернувшихся удавов, душно пахло резиной.

Он прыгнул в ящик, и при этом его ударило крышкой по голове, но он не почувствовал боли.

Согнувшись в три погибели (вот, оказывается, что означает это ходячее выражение!), он быстро распечатал коробку с пластинками, схватил кассету, но тут лицо его исказилось, и он поспешно сунул коробку за пазуху: тонкий прямой лучик сумел пролезть и сюда — нашел какую-то дырочку.

Мимо проходила женщина с метелкой, должно быть, уборщица. Вдруг она вскрикнула, выронила метелку. Из ящика высунулся человек, чихнул и сипло сказал, облизывая губы:

— Товарищ, это я! . . . Одну секундочку! . . . Прошу вас . . . сядьте на крышку . . . здесь есть еще щелка, проходит свет! . . .

Женщина смотрела на него, округлив глаза.

— Товарищ, я вас умоляю, сядьте!

Женщина села на крышку, соображая, что это означает и не следует ли, опустив щеколду, сходить за комендантом.

В ящике слышалась какая-то возня, фыркание, потом сдавленный голос крикнул:

— Тетенька, откройте, я задыхаюсь!

Она встала.

Человек выскочил из ящика, как игрушка на пружине, покрытый пылью, сияющий.

— Абсолютный мрак! — крикнул он. — Спасибо, тетенька!

И побежал вниз, перескакивая через три ступеньки.

* * *

Деревья протягивали к солнцу еще не отогревшиеся голые коричневые лапы. На бульварах бесформенными кучами лежал снег, серый и ноздреватый, как губка. Ветер залихватски трепал отставшие от стен афиши. Водосточные трубы низвергали кушочки зеленоватого льда.

Человек шел по весенней Москве. Иногда он останавливался, разводил руками и улыбался. Редкие прохожие смотрели на него с удивлением.

Дома было гораздо холоднее, чем на улице. В насквозь промерзшей кухоньке с окном, забитым фанерой, пахло оттаивающей штукатуркой — единственный пока признак весны.

Он нашарил выключатель на стенке, и в темноте загорелась лампочка рубиново-красным огоньком. Здесь помещалась его лаборатория.

Фотокорреспонденты в светлых плащах, с краси-



выми кожаными футлярами через плечо опять, наверное, улыбнулись бы при виде такой лаборатории. Но уж теперь-то он никогда бы не поменялся с ними — ни за какие блага мира!

Он поставил на табурет ванночку с проявителем и долго дышал на него, стараясь согреть хоть немного. Руки у него дрожали, когда пластинка погружалась в жидкость. Присев на корточки перед табуретом, он осторожно покачивал ванночку. На поверхности ее колебались рубиновые волны.

И вот на молочно-белой эмульсии стал проступать отчетливый черный рисунок. Фотокорреспондент увидел знакомый контур большого лба, бровь, изогнувшуюся над прищуренным глазом, и вдруг громко запел своим простуженным, хриловатым баском...

Утром он долго выбирал среди отпечатанных снимков самые отчетливые, без пятнышек и царапин. Наконец отложены были два наилучших. Медленно, точно смакуя каждое движение, он вложил их в конверт и старательно заклеил его.

Теперь оставалось написать адрес.

Чиркая с трудом загоравшиеся спички, он подогрел заledenевшую чернильницу, обмакнул перо и вдруг задумался, не отрывая глаз от конверта. Потом, улыбаясь своим мыслям, вывел печатными буквами:

«Ленину!»

Вот и все! Готов адрес!

Письмо с этим адресом можно опустить в любом месте земного шара — где-нибудь в Калькутте, или в Гренландии, или на острове Кипр, — и оно обязательно дойдет до своего адресата...

Через некоторое время «нашему фотокорреспонденту» рассказали: известный художник, которому посчастливилось рисовать Ленина в его совнаркомовском кабинете, спросил однажды, не имеет ли Владимир Ильич фотографий. Ленин ответил, что своих изображений обычно не хранит, но вот, кажется, есть одно. . .

Он открыл ящик и протянул художнику аккуратно вскрытый конверт:

— Это меня снимал один молодой товарищ в Свердловском университете!

Говоря это, он улыбнулся. Вспомнил, должно быть, историю с незаряженной кассетой.



СЕКРЕТАРЬ НАРКОМА

В те времена, уже далекие, она работала секретарем у товарища Коллонтай, наркома социального обеспечения, первой в мире женщины-министра, как писали иностранные газеты. В числе ее секретарских обязанностей была такая: относить документы в Кремль на подпись Председателю Совета

Народных Комиссаров. На этот предмет ей выдали постоянный пропуск в здание Рабоче-крестьянского правительства.

Когда Александра Михайловна Коллонтай впервые поручила ей отнести бумаги на подпись Ленину, она до того растерялась, что выронила папку из рук.

Коллонтай улыбнулась:

— Не смущайтесь и не трусьте, Мария! (По молодости лет все называли секретаря наркома по имени). Познакомитесь с Владимиром Ильичем — и сами увидите. . .

Эти слова повергли Марию в полное смятение. Но вот прошло немного времени, и она уверенно могла заявить, что лично знакома с Лениным.

Являясь в кабинет Председателя Совнаркома, Мария ни разу не почувствовала себя неким безымянным, безликим существом, которое приносит и уносит бумаги. Она знала, что это «здравствуйте» относится именно к ней; что в этой комнате, где решались дела планетарного размаха, она занимает свое местечко.

Когда она шла сюда, то думала только об одном: так все подготовить, чтобы Ленин не затратил ни одной лишней секунды. Но случалось иногда — конечно, не по ее вине, — что она задерживалась несколько дольше, чем могла предположить.

— Здравствуйте! — слышала она, входя в кабинет. — Посидите минутку, я сейчас. . .

Сидя в мягком кресле, Мария украдкой поглядывала, как Ленин необыкновенно быстро пишет мелким, бисерным почерком. Потом она начинала рассматривать уже знакомые ей вещи на письменном

столе: клей в пузырьке с резиновым наконечником, продолговатую книжку с алфавитом, ножницы, маленькую лампу с зеленым абажуром. И вдруг вздрагивала от неожиданности:

— Нуте-с, давайте-ка сюда ваши бумаги!

Возвращаясь из Кремля в гостиницу «Националь», где помещался тогда Наркомат социального обеспечения, она заново припоминала эти минуты: ведь это навсегда, на всю жизнь.

Она шла по Москве, ничем не отличаясь от других, в своей застиранной гимнастерке, в сплошь залатанных мужских сапогах не по ноге, с пухатым портфельчиком из облезлой клеенки. Но если бы кто-нибудь сейчас заглянул ей в глаза, то увидел бы в них скрытое ликование, какое бывает у человека, несущего удивительный, радостный секрет.

* * *

В прошлый раз, когда она была здесь, Ленин, как бы давая себе небольшую разминку, прошелся по кабинету, заглянул в окно; небо над Кремлем было тогда ярко-голубое, и Троицкая башня казалась особенно светлой и стройной.

— Вы только посмотрите, — сказал он, — что вытворяет осень-баловница! Какой денек подарила!

«Теперь Владимир Ильич уже не скажет про осень-баловницу», — думала она, ступая по мокро блестящим булыжникам Красной площади. Сеял мелкий, почти невидимый дождик, небо было густосерого цвета, как солдатское сукно.

По-видимому, Ленин уже собрался уходить. Он присел к столу, за которым принимал посетителей,

раскрыл папку. Бумаг, кстати, было немного сегодня. Он быстро их просмотрел и подписал.

— Вы куда сейчас? К себе? — спросил он, возвращая ей папку. — В таком случае идите вниз, одевайтесь и ждите меня! Я скоро! Сегодня мы с товарищ Коллонтай выступаем на одном митинге!

Мария посмотрела на него непонимающими глазами.

— Я обещал заехать за Александрой Михайловной в «Националь», — чуть приметно улыбаясь, пояснил Владимир Ильич. — И вас заодно подвезу!

Минуты через две или три он уже поспешно спустился по лестнице. Мария, стоявшая внизу, отчетливо представила себе, как он забегают домой, снимает с вешалки пальто, кепку.

— Вы еще не одеты? — удивленно спросил он.

Ее худенькое, бледное лицо порозовело: очень трудно было сразу ответить на этот вопрос. А дальше все произошло так быстро, что она ничего не успела предпринять: он снял с себя шарф, набросил ей на шею. Только тогда она спохватилась и заговорила испуганно:

— Мне не холодно. . . На самом деле не холодно. . . Знаете, какая я закаленная!

— Не знаю! — коротко ответил Ленин. — Будьте добры надеть шарф как следует! . .

Выхлопывая черный дым, машина выехала за ворота Кремля. Движение на улице было небольшое, но шофер все время беспокойно озирался и давал частые гудки. Мария сидела неподвижно, стараясь занимать поменьше места; руки ее нервно перебирали концы шарфа.

Ленин, смотревший в стекло, повернулся к ней.

— Все мы безбожно перегружены работой! — сказал он, точно отвечая на какие-то свои мысли. — Нужно письмо написать, а отделяешься запиской. Даже узнать друг друга поближе иногда нет возможности... Расскажите немного о себе! — неожиданно закончил он.

Рассказать о себе! Немного!

Она мгновенно вспомнила, как, оторвавшись от бумаг и потирая усталые глаза, он говорит ей:

— Длинно написано! К чему эта беллетристика! Сколько уходит времени, пока доберешься до выводов, практических предложений! Нет, надо выработать телеграфный стиль для деловых бумаг!

Мария часто вспоминала об этих словах, вытягивая суть дела из потока «беллетристики», проходившей через ее руки. Сейчас ей пригодился этот маленький опыт: она рассказывала только о главном, о том, что было решающим в жизни. У нее уже складывалась настоящая биография, несмотря на молодость: революция, Украинский фронт, партизанский отряд, где она воевала вместе со своим мужем, тоже молодым человеком; теперь он лежит в московском госпитале, поправляясь после тяжелой контузии.

— А когда выпишется, будет щеголять в гимнастерке, как и вы! — нахмурился Ленин.

С какой радостью она ответила бы, что нет, не будет, но человеку, который сидел рядом, нельзя было говорить неправду.

Машина уже подъезжала к гостинице «Националь». Мария осторожно начала стягивать шарф, но Ленин вдруг погрозил ей пальцем:

— И не пытайтесь! Извольте его носить!

* * *

Часа через два вернулась с митинга товарищ Коллонтай и вызвала к себе секретаря. Слово «вызвала» носило, конечно, весьма условный характер: кабинет наркома социального обеспечения помещался тут же рядом, в бывшем гостиничном номере — стоило только приоткрыть дверь.

В руках у Коллонтай был запечатанный конверт:

— Это в Наркомпрод, Мария! Во что бы то ни стало найдите самого Александра Дмитриевича и передайте ему в собственные руки.

Она протянула письмо и вдруг, выйдя из-за стола, сказала с каким-то особенным выражением:

— Ах, Мария, Мария! Если б вы знали, какой урок я получила сегодня, если б вы только знали!

Мария выжидательно посмотрела на нее. Наверно, что-то такое произошло на митинге, о чем хочет рассказать Александра Михайловна. Она часто обращала внимание своих молодых сотрудников на те факты, о которых следовало задуматься. Иногда, в свободную минуту, она вспоминала о годах эмиграции и революционного подполья; рассказывала и о том времени, которое было так недавно, но уже становилось историей, готовой облечься в мрамор и бронзу. . .

— Нет, нет! — торопливо сказала Александра Михайловна. — Не теряйте времени, Мария! Это очень важно, очень!

* * *

Человек, которого надо было найти во что бы то ни стало, был Александр Дмитриевич Цюрупа. Застать его в кабинете было почти невозможно, но

Марии повезло: она встретила его на лестнице и тут же вручила письмо в собственные руки. Прислонившись к подоконнику, Цюрупа распечатал конверт, а она невольно смотрела на его руки, очень худые, бледные до прозрачности. И лицо у него было бледное, отечное, с печатью тяжелой заботы. Было известно, что недавно, после заседания, он упал в глубокий обморок. Врачи без труда установили причину: систематическое недоедание.

Таков был этот человек, ленинский нарком продовольствия, которому Владимир Ильич постоянно выговаривал за «невозможное обращение с казенным имуществом», иначе — со своим здоровьем, и предписал своему секретарю Фотиевой проследить, как питается, отдыхает и выполняет назначения врачей наркомпрод Цюрупа.

По мере того как Цюрупа читал письмо, лицо его прояснялось, он несколько раз кивал головой и улыбался. Потом расправил на подоконнике бумаги и, написав несколько строчек, подал его Марии.

— Вы Москву знаете? Идите прямо на Большую Дмитровку, в бывший холодильник Михайловых, и предъявите сие товарищу, чья фамилия здесь обозначена. А пока вы туда идете, я с ним созвонюсь!

Все еще улыбаясь, он быстро пожал ей руку. Мария вышла на улицу несколько озадаченная: до сих пор она знала или, во всяком случае, имела представление о том, что ей приходилось выполнять, но сегодняшние поручения были непонятны. «Холодильник! — думала она, направляясь на Большую Дмитровку. — Почему холодильник?»

Товарищ в потертой кожанке, чья фамилия была обозначена на записке, провел ее в помещение, где

действительно было как в холодильнике. Стояли какие-то ящики, коробки, по стенам висела на крюках одежда.

Склад? Да, безусловно! Но это был особый склад, своего рода «пункт скорой помощи»! Под строжайшим контролем хранилось в нем весьма небогатое имущество, которым располагала тогда пустая, холодная, голодная, вконец обносившаяся Москва. Сюда обращались в самых трудных случаях. По просьбе Ленина надо потеплее одеть товарища, который пробрался в Россию из далекой страны, где круглый год припекает солнце; в срочном порядке необходимо подобрать соответствующий костюм советскому дипломату, уезжающему за границу; обязательно требуется найти три пары исправных сапог для делегатов съезда, — это звонит Свердлов.

Вот на какой склад пришла Мария с запиской наркомпрода Цюрупы. Товарищ в потертой кожанке оглядел ее деловито-сурово, достал из ящика высокие дамские ботинки на шнуровке, меховую шапку, снял с крюка беличью шубку и предложил все это примерить.

Наконец-то Мария поняла, что происходит. Ей стало даже немножечко смешно: «Господи, господи, — думала она, — каких только поручений не приходится выполнять!»

Надев скрипучие ботинки, шапку и шубу, она прошла по комнате быстрой, энергичной походкой, размахивая руками, — так всегда ходит Александра Михайловна Коллонтай.

— Шапка с ботинками должны сидеть хорошо, — сказала она. — А вот шубка как будто узковата!

Ей дали примерить другую шубку, тоже беличью.

— А эта, кажется, велика! — вздохнула Мария.

— А вам не кажется, товарищ, что вы капризничаете? — хмуро спросил ее человек в потертой кожанке. — Шуба на вас как по заказу!

— Так это ж не мне! — усмехнулась Мария. — Ведь носить-то будет товарищ Коллонтай! А она пониже меня ростом и чуть пошире! Уж кто-кто, а я-то знаю!

Человек в кожанке воззрился на нее:

— Так вы что, для товарища Коллонтай примеряете?!

— А для кого же? — пожала плечами Мария.

Суровый товарищ улыбнулся, и тут выяснилось, что он значительно моложе, чем это можно подумать, и не столь уж мрачно деловит.

— Значит, так, товарищ, — сказал он, снова принимая официальный вид. — Меряете вы на себя, а не на товарища Коллонтай! Да, да, именно на себя! — добавил он, видя испуганное и растерянное лицо своей посетительницы. — Вот тут написано! И я вас прошу расписаться. . .

Всю дорогу от Большой Дмитровки Мария почти бежала, размахивая пузатым портфельчиком. Она была уверена, что участвует в каком-то недоразумении, что сделано что-то не так и не то. А новые ботинки скрипели при каждом шаге; было ужасно непривычно в буржуйской шубке с меховой шапкой — казалось, что все на нее оборачиваются.

Александра Михайловна руками всплеснула, увидя её:

— Мария! Замечательно! А ну-ка, повернитесь!

Чудесно!— Она вскинула часики к глазам.— Не раздевайтесь, не раздевайтесь! Сейчас же, вот так как есть, идите в секретариат Совнаркома к Лидии Александровне Фотиевой и скажите ей, что все в порядке. Так и скажите: «Все в порядке» — и сразу же возвращайтесь. . .

* * *

— Товарищ Коллонтай просила вам передать, что все в порядке.

Фотиева осмотрела ее с головы до ног, улыбнулась:

— Минутку!

Дверь в кабинет Ленина осталась открытой, и почти сразу же оттуда вышел Владимир Ильич.

— Нет, вы только взгляните, какова! — сказал он с веселым удивлением. — Вот теперь нет никаких сомнений, что к нам явился секретарь наркома! Передайте товарищ Коллонтай, что я очень доволен, и скажите ей от моего имени, чтобы она так же позаботилась и о вашем муже!.. Вы слышите меня, товарищ секретарь наркома?

Так вот оно что!

Точно вспыхнул и пронесся перед глазами весь этот день с его поспешными поручениями, письмами, записками.

— Я... не знаю, — тихо произнесла Мария и умолкла. Ей хотелось сказать: «Я не знаю, как благодарить вас, Владимир Ильич», — но голос у нее задрожал.

Выручил стремительно вошедший в комнату самокатчик. Он откозырял Ленину, протянул пакет.

Лицо у Владимира Ильича сразу сделалось напряженным, но, уходя в кабинет, он еще раз поглядел на секретаря наркома, и глаза у него блеснули мгновенной улыбкой.

«А шарф! — чуть не закричала Мария. — Шарф!»

Шарф лежал в пузатом портфельчике. Она не могла разрешить себе носить его, не могла оставить у себя. Шарф надо было вернуть. Только что была замечательная минута для этого, очень удобная, но она ее уже пропустила.

* * *

— А ведь я обязана была сделать это сама! Первая должна была заметить, увидеть!.. Нет, нет, Мария, не нужно протестующих жестов! Зачем списывать собственные промахи и ошибки! Мы заняты, очень заняты, это верно. А вот он, занятый нечеловечески, сверх всякой меры, он всегда все видит!

Мария слушала молча; щеки у нее горели: нужно еще рассказать про шарф. . .

— Как это похоже на него! Как удивительно похоже! — Коллонтай быстро прошла по комнате, как всегда в минуты волнения, потом остановилась возле своего секретаря. — Знаете, я разделяю ваше беспокойство! Сомневаюсь, что Владимир Ильич имеет еще один шарф!.. Абсолютно возможно, что он ходит без шарфа!

Эти слова решили все. Они заставили Марию действовать без промедлений и колебаний.

Был уже вечер, внеслужебное, так сказать, время, но в Кремле не знают такого времени. Предъ-



явив пропуск, она быстро прошла мимо приемной, мимо кабинета Предсовнаркома, в самый конец коридора; здесь квартира Ленина. Кто откроет ей двери?!

Открыла Надежда Константиновна.

— Я секретарь товарища Коллонтай! — храбро произнесла Мария.

— Вы к Владимиру Ильичу? — по-домашнему просто спросила Крупская. — А его нет сейчас, он в Моссовете. Заходите, пожалуйста!.. Вам нужно что-нибудь передать?

— Нет, благодарю! — торопливо ответила Мария. — То есть да! (Как быстро убывает ее храбрость!) Может быть, вы знаете... Владимир Ильич отдал мне свой шарф... Можно мне вернуть его? (Опять дрожит голос.) Ведь я теперь видите, как одета!

Надежда Константиновна понимающе улыбнулась.

— Хорошо! Я постараюсь выполнить вашу просьбу!

* * *

Об этом эпизоде спустя много лет рассказал И. Демченко — старый коммунист, муж Марии, бывшего секретаря наркома.

Шарф Владимира Ильича хранится в музее его имени.



ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Деловой разговор окончен. Все необходимые вопросы заданы, ответы выслушаны.

— Да, нелегко досталась вам путь-дорожка, — сказал Владимир Ильич, пристально глядя на своего собеседника. — А ведь завтра, товарищ Азизов, вам отправляться в обратный путь!

— Я знаю! — ответил Гасан Азизов. — Когда надо, тогда и пойду!

— Вы, кажется, остановились в Первом Доме Советов?

— Да. У земляков! — кратко ответил Гасан Азизов.

Теперь, когда Ленин сидел не за письменным столом, а в кресле напротив, хотелось смотреть на него не отрываясь.

— Я вам хочу предложить замечательный план! — сказал Владимир Ильич с веселым оживлением. — Возвращайтесь-ка в Дом Советов, сразу же примите горячий душ и, ни о чем не думая, заваливайтесь спать... И спите, пока вас не разбудит кремлевский самокатчик... Советую не медлить. По-моему, у вас там имеется горячая вода от шести до восьми вечера. А мы тем временем обсудим все, о чем написал товарищ Киров... Договорились?

Он быстро поднялся с кресла. Встал и Гасан Азизов. Лицо его, загоревшее до черноты, напряглось, в глазах метнулась растерянность. Разговор окончен, пора идти, но есть еще одно поручение к Ленину — и оно остается невыполненным...

Об этом поручении Сергей Миронович Киров сказал ему на прощанье: «Имей в виду, друг Гасан, что здесь потребуются от тебя тончайший дипломатический подход, иначе все сразу испортишь. К великому сожалению, не могу дать никаких советов. Произведи глубокую разведку на месте и действуй сообразно полученным данным».

Гасан так и действовал. Сначала переговорил с земляками-бакинцами, работавшими в Москве. «Очень нелегкое дело, — сказали ему земляки. —

Спроси в Кремле у коменданта. Он должен знать, как и что».

Но комендант, крепко сбитый плечистый матрос, только развел руками: «Не знаю, что и ответить тебе, браток! При таких случаях мы и сами ходим вокруг да около!— Он задумчиво посмотрел на большой, туго завязанный мешок, висевший у Гасана за плечами. — Оставь его покуда в комендатуре. Улучим подходящее времечко, занесем Ильичу на квартиру, а там будет видно. . .»

Гасан слушал его, нахмутив черные, выпуклые брови, потом упрямо мотнул головою:

— Спасибо, товарищ комендант! Лучше я сам!

С этой минуты он, что называется, вверил себя судьбе. Но, как видно, судьба не благоволила к нему. Несколько раз порывался он начать дипломатический разговор, но так ничего и не придумал. И теперь, когда уж надо было уходить, он впал в настоящее отчаяние. Надо уходить, а он не двигался с места; губы у него шевелились, пальцы нервно теребили недавно отросшую темную бородку.

Ленин поглядел на него с некоторым недоумением. И тогда, точно подстегнутый, Гасан заговорил, со страшным напряжением произнося каждое слово:

— Товарищ Ленин! . . Товарищ Киров велел. . . надо вам что-нибудь. . . передать. . .

— А вы разве не все еще мне передали?— удивленно спросил Владимир Ильич.

— Не все. . . Товарищ Киров сказал. . . Отдай в руки. . . скажи — я послал. . .

— Не совсем понимаю вас. Что именно послал? Вопрос прозвучал суховато-настороженно. Га-

сан внутренне заметался, но отступить было уже некуда.

— Такой небольшой пакет, — произнес он хрипло. — Мед. Икра. Изюм. . . немножко. . .

Владимир Ильич быстро прошелся по кабинету — вперед, назад — и круто остановился перед Гасаном.

— Просто не знаю, товарищи, что мне с вами делать? Ну зачем, зачем это?

Гасан молчал. Ай, как все плохо! И никто не скажет, как действовать дальше! Он стоял, сжав кулаки до боли, чувствуя на себе неотрывно-внимательный взгляд. И вдруг услышал:

— А где у вас эта икра с медом?

Не задумываясь ни секунды, Гасан бросился к двери. В приемной, в углу, лежал его мешок. Здесь это было в обычае. Нередко появлялись тут ходоки из дальних мест вместе со своими котомками, мешками, торбами. Они складывали их в сторонке, садились и ждали, когда позовут к Ильичу.

Дежурная секретарша без особого удивления посмотрела на человека, который схватил мешок и кинулся обратно в кабинет. Здесь он поискал глазами, куда его положить, и, поколебавшись, опустил на пол. Владимир Ильич, сощурясь, поглядел на мешок, нагнулся и приподнял его:

— Вот так немножко! Да тут по крайней мере пуда полтора! И вы с этой поклажей добирались по нашим дорогам от Астрахани до Москвы? Больше двух недель?

Гасан торжествующе улыбнулся:

— Я сильный! Работал грузчиком в Баку. Какие таскал ящики! — Улыбка точно залила его смуг-



лое лицо, крупные белые зубы светились.— Товарищ Киров сказал: «Ильич много работает, мало спит, плохо кушает! Так нельзя!» Будете кушать, будете здоровый. — Он вытащил из кармана ножик в деревянном чехле, высвободил лезвие и потянулся к веревке, перетягивавшей мешок.

Владимир Ильич мягко придержал его руку:

— Обождите, товарищ Азизов! Спрячьте ножик!

Он нажал кнопку звонка. Вошла дежурная секретарша. Точно ожидая каких-то возражений, Ленин сказал ей подчеркнуто строго:

— Вот тут товарищ привез продукты. Прошу вас незамедлительно сообщить коменданту, чтобы он позаботился доставить их в Сокольники, в санаторий. Он знает. И пусть проследит, чтобы все было сделано как следует!

Секретарша молча выслушала его. На ее бледном лице выступили розовые пятнышки. Видно было, что молчание стоит ей большого труда.

— Вам что-нибудь неясно? — еще строже спросил Ленин.

Секретарша направилась к двери. Хмуро посмотрев ей вслед, Владимир Ильич повернулся к Гасану.

Существуют в нашем языке некоторые примелькавшиеся выражения, вроде таких, например: «Он стоял как громом пораженный». Именно так и стоял сейчас Гасан Азизов — по-другому не скажешь.

Взяв его под руку, Ленин дошел с ним до кресел:

— Товарищ Гасан, послушайте меня! Послушайте и поймите. Разве я один много работаю и, случается, мало сплю? А миллионы других, которые работают сверх всякой меры, не считая часов, и при этом голодают! А дети? Мы не можем досыта накорм-

мить их хлебом. Есть среди них совсем маленькие — моя сестра называет их малышатами. . . Вот недавно удалось нам открыть санаторий в Сокольниках для таких малышей. Им, конечно, снятся разные сны, но ведь они и во сне не видели икру с медом. Они даже и не подозревают, что на свете есть такие изумительные вещи. Какая же там будет радость! — Ленин наклонился к сидевшему рядом Гасану, заглянул ему в глаза. — Теперь ответьте мне, товарищ Гасан, могли бы вы, зная об этом, сидеть и поедать изюм с медом? Могли бы?

Гасан сидел сцепив пальцы.

— Что я скажу товарищу Кирову. . . что я скажу?

— А насчет этого мы сейчас обдумаем, — ответил Владимир Ильич. В уголках его глаз, приподнятых к вискам, зажглись лукавые искорки. — Будем немножко дипломатами, товарищ Гасан, и поставим вопрос так: зачем нам огорчать товарища Кирова? Я ему напишу расписку о том, что все продукты от вас получил и ем исправно, а вы ее передадите! А в дальнейшем мы с вами во всем признаемся товарищу Кирову. Ведь не всегда же мы будем жить так скудно! Наоборот, я уверен, что близится время, когда у нас будет всего вдоволь. . .

Пересев за письменный стол, Владимир Ильич оторвал листок от блокнота и взял перо.

— Теперь вы знаете, какие учителя были у меня по дипломатической части. Что же мне оставалось делать, как не стать дипломатом? И я им стал!

Человек, произносящий эти слова, — весь в ка-

кой-то особенно резкой седине — так обычно седеют смуглые, черноволосые южане. Его брови, усы, борода — чистейшего серебряного отлива. Далеко ушел он от тех дней, которые сейчас вспоминает. И все же нетрудно представить себе, каким был тогда Гасан Азизов. Есть такие счастливые люди — на всю жизнь остается в них что-то непобедимо молодое. . .

— Как вы уже слышали, мое первое дипломатическое поручение, данное Сергеем Мироновичем, было выполнено, мягко выражаясь, не слишком удачно. Зато второе — от Владимира Ильича — получилось значительно успешнее. Не буду излагать, как я добирался обратно в Астрахань. Самое важное было в том, что я все-таки добрался жив и невредим. Доложил товарищу Кирову все, что требовалось, а под конец вручил ему расписку.

Сергей Миронович даже засмеялся от удовольствия: «Молодец! Я всегда подозревал, что у тебя есть дипломатическая жилка!» И я выслушал это, не моргнув глазом. Дипломатия так дипломатия! . .

Той же ночью состоялось заседание Реввоенсовета. Председательствовал Киров. Я видел, как он несколько раз вынимал и разглядывал листок из ленинского блокнота. Перечтет, улыбнется, спрячет в карман, а через некоторое время снова достает. . .

— А узнал он, как было на самом деле?

— Узнал! Я сам рассказал ему. Но это случилось много позже, в тридцать втором году, когда он работал в Ленинграде. Я получил тогда назначение в Англию, в наше торгпредство. Нарочно так выгадал, чтобы иметь свободный день для встречи с Сергеем Мироновичем. Приехал в Ленинград, позвонил

в Смольный. Слышу знакомый голос, такой же сильный, отчетливый: «Гасан? Вот это да! Ты где? Жду, приходи!.. Нет, лучше у меня дома встретимся. Уж там всласть наговоримся!»

Вечером отправился к нему на Петроградскую. Надо сказать, удивительно мало он изменился. Пожалуй, только раздался вширь. А так — совсем прежний Мироныч. Такая же гимнастерка с широким ремнем, русские сапоги и кисет с излюбленной махорочкой. А на мне строгий черный костюм, белоснежное крахмале. Сергей Мироныч оглядел меня, засмеялся: «Вот они каковские, наши дипломаты! А борода у тебя, как у ассирийского царя Ассурбанипала или как его там. . .»

Просидели мы с ним целый вечер. Было что вспомнить. Пили чай из самовара, ужинали гречневой кашей. Потом решили пройтись по Каменно-островскому проспекту — теперь он называется Кировским. Дошли до Невы, постояли на мосту. Тут я и рассказал Сергею Мироновичу о расписке. Он слушал с жадностью, спрашивал каждую мелочь. «Так вот, как оно было! И ты мне ни гу-гу! А впрочем, как же иначе? Дипломатическое поручение. Да еще от кого. . .»

Постоял в задумчивости, потом сказал тихо:

— Какое это было удивительное, необыкновенное счастье — знать, что у нас есть Ленин!



ЗИМНИЙ ДЕНЬ

В тот день охота не задалась. Вскоре после полудня решили поворачивать домой.

Лесник был мрачен, неразговорчив. Единственный удачливый выстрел за весь день достался ему, а не Ленину, и это было особенно обидно.

— Ну зачем же так огорчаться?! — утешал его

Владимир Ильич.— Поверьте, я очень доволен сегодняшним днем. Побродил по лесу, надышался свежим воздухом. А красота здесь какая — не налюбуешься! Когда жил за границей, очень скучал по русской зимушке-зиме. Такой, как у нас, нигде не бывает. И елок таких не увидишь и сосен. . . Нет, это вы напрасно так огорчаетесь, ей-ей. . .

У лесниковой избушки, на дороге, стояли автоманы. Шофер возился с мотором.

— Намерзлись тут, наверно! — сказал ему Владимир Ильич. — Идемте чай пить!

В тесной избе стоял самодельный стол, около него — ровно отпиленные чурбаки для сидения. По стенам — связки сушеной травы, зеленые еловые ветки. Владимир Ильич с удовольствием оглядел этот нехитрый лесной уют, снял сумку, присел за стол.

Лесник хлопотал по хозяйству. Подкинул сухих дровишек в кирпичную плиту, чиркнул зажигалкой, поставил старый медный чайник. При этом он что-то бормотал про себя, как бы не решаясь начать разговор. Наконец он не выдержал:

— Просьба к вам, Владимир Ильич, такая: вы этого тетерева возьмите с собой. По справедливости он ваш и есть! Прямо на вас вылетел. . .

Владимир Ильич засмеялся:

— Летел на меня, а попали вы! Если уж говорить по справедливости, это именно ваша добыча — и законнейшая. . . А я все равно в выигрыше. Подумайте только — за весь день ни одного телефонного звонка, ни записки, ни вопроса, ни заседания. . . Истинный отдых для головы!

На плите бурно вскипел медный чайник. Бро-

сив в него горсть какой-то заварки, лесник поставил глиняные кружки и миску с грибами.

— Чем бог послал! Своего соления. Угощайтесь!

Владимир Ильич открыл сумку, достал из нее жестяную коробочку и небольшой бумажный пакет. В пакете оказались бутерброды, а в жестяной коробочке — мелко наколотый сахар.

— И вы угощайтесь, пожалуйста. Нет уж, не упрямитесь, а пейте с сахаром. Я вас слушался на охоте, а теперь извольте слушаться меня.

Горячий чай припахивал дымом, но от этого показался еще вкуснее. Уютно ворчал на плите медный чайник, потрескивали дровишки в печке. От плиты струилось приятное тепло. Хорошо, пробродив чуть ли не с рассвета, посидеть так — в тихой лесной избушке.

И вдруг тишина нарушилась. Отчетливо слышались за окошком чьи-то шаги по снегу.

Лесник нахмурился, встал. Поднялся и шофер. А в дверь уже постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел парень, одетый не по погоде — в легкой куртке, в суконном шлеме с поднятыми ушами.

— Привет честной компании, — бойко сказал он. — Дяде Егору честь-почтенье. Иду на завод мимо твоих хоромов, вижу — дымок из трубы! Как тут не заглянуть.

Лесник пробурчал в ответ что-то не очень приветливое, потом сказал шоферу, пристально смотревшему на пришельца:

— Знакомый! С конного завода человек!

— А тут разве есть конный завод? — спросил Владимир Ильич. — Далеко?

Парень взглянул в его сторону, хотел, как видно, что-то сказать, снял шлем, снова надел его. На его широком, скуластом лице отразились и удивление и восторг. Он даже рот приоткрыл и так стоял молча некоторое время.

— Товарищ Ленин! Ильич! — выговорил он наконец. — Я же вас узнал! Я же нынешней весной вашу речь слушал на Красной площади.

Лесник нахмурился еще больше. Ему было известно, что Ленин любит отдохнуть незаметно, а тут навязался непрощеный человек.

Но Владимир Ильич не выказывал никакого огорчения.

— Так вы с конного завода? — обратился он к парню. — Присаживайтесь! Чай у нас горячий!

Парень сел на краешек чурбака. Он не отрывал глаз от своего собеседника. Невежливо смотреть с таким упорством, но парень, наверно, не в состоянии был думать об этом сейчас.

— А лошадей у вас много? — спросил Владимир Ильич. — А как с сеном?

Парень точно очнулся:

— Товарищ Ленин! — горячо заговорил он вдруг. — Завод наш близко. Версты три отсюда. Как раз у дороги. На вашей машине — десяток минут... Поглядите сами на наше хозяйство... У нас товарищ Зауринь Ян Янович комиссаром. Имеет два красных ордена, руку потерял в бою... И другие буденовцы работают...

Ленин задумался на секунду, вынул часы из кармана.

— Как, успеем обернуться? — спросил он у шофера. — В Москве нам нужно быть в шесть часов!

— Успеть можно, Владимир Ильич, — ответил шофер. — Но только уж вы ненадолго. Иначе трудновато будет. . .

* * *

В первую минуту Ян Янович Зауринь совсем растерялся: вытянувшись по-военному, он хотел отрапортовать Председателю Совнаркома, но ни одно слово не приходило в голову.

А невысокий человек в полушубке, в шапке-ушанке говорил улыбаясь:

— Захотелось сегодня подышать чистым воздухом, побродить по лесу. . . Вот товарища Зайцева повстречали с вашего завода. . . Он и показал дорогу сюда. . . Как вы здесь живете? Как дела идут?

— Дела у нас только начинаются, — ответил Ян Янович, — начинаем почти что на пустом месте.

И, уже совсем не волнуясь, рассказал, что здесь, в этом подмосковном лесном углу, был до революции конный завод, принадлежавший какому-то барону или графу. Были тут и породистые лошади, и целый штат конюхов и объездчиков и всякой прочей обслуги. Перед самым Октябрем оборотистый барон или граф ухитрился распродать почти всех лошадей, а сам удрал за границу. От обслуги тоже почти ничего не осталось. А в первые дни революции — наверно, по наущению бывшего владельца — кто-то поджег конюшни, сарай. Но все же кое-какие строения с имуществом уцелели. Удалось собрать десятка полтора лошадей. И народ пришел хороший — из буденовцев. . .

Владимир Ильич, слушая его, достал из кар-

мана записную книжку, карандаш и сделал какие-то пометки на листочке.

— Наркомзем, военное ведомство помогают? Не очень?! Это их прямое дело! Я им напомним, а вы, если понадобится, обращайтесь прямо ко мне!

За дверью комнаты, где шел этот разговор, слышались приглушенные голоса, скрип дощатого пола, кто-то отчетливо произнес: «А потише нельзя?»

— Владимир Ильич! — сказал товарищ Зауринь. — Люди знают, что вы здесь. Хотят войти!

— Что за вопрос? Обязательно! И я хочу их видеть! . .

Шофер возился возле автосаней, разогревал мотор — боялся, как бы не застыл на морозе. А мороз был крепкий — пожалуй, не меньше двадцати градусов. Зато хороша зимняя дорога в такую погоду.

Через полчаса шофер заглянул в комнату, где собралось все небольшое население конного завода. Картина была для него знакомая: никакой чинности тут не соблюдалось. Владимир Ильич, с шапкой в руке, стоял у стола, люди тесно сгрудились вокруг.

— Нет сомнения, что придет такое время, когда мы пересядем с коня на трактор, — говорил он. — Создадим машины в тысячи лошадиных сил. . . Но это в будущем. А пока мы еще нуждаемся в натуральной лошадиной силе. . . На четырех ногах. . .

— Еще не отжила лошадка свой век! — сказал кто-то.

— Совершенно верно, товарищ! — ответил Владимир Ильич. — Она требуется нам везде и всюду: и в городе, и в деревне, и для нашей Красной Армии, — взгляд его упал на шофера, который подошел поближе, и он понимающе кивнул головой. —

А сейчас, товарищи, я должен уезжать, а то не успею в Москву ко времени. . .

Толпою пошли провожать Ленина. Товарищ Зайцев шел рядом— счастливый, сияющий, в шлеме, свернувшемся набок. Он по праву чувствовал себя героем дня. . .

Вернувшись к автосаням, шофер с силою крутанул ручку мотора. Послышались оглушительные хлопки, машина дернулась несколько раз, окуталась черным дымом и заглохла. Шофер снова завел ее. Владимир Ильич терпеливо ждал.

— Хоть и машина, а норов у нее, как у необъезженной лошади! . . — сказал товарищ Зайцев.

— Норов такой, что глаз и глаз нужен, — озабоченно ответил шофер. — Да и корм не тот: ей бы чистого бензинчику, а мы ее поим какой-то немисливой смесью.

Наконец мотор перестал хлопать и затарахтел равномерно. Ленин сел рядом с шофером, помахал рукой провожающим, и машина покатила по гладкой снежной дороге.

Но оказалось, что события этого удивительного дня еще не окончены. И первую весть о них опять принес товарищ Зайцев.

— Ленин с шофером обратно идут! Пешком!

Товарищ Зауринь быстро набросил шинель. Вслед за ним заторопились и другие.

Да, Ленин и шофер возвращались на завод. Пешие.

Всех охватила тревога. Что случилось?

Оказалось, вышел из строя мотор. Успели отъехать версты полторы, не больше. Авария серьезная, на месте не исправить. Вот и вернулись обратно.

— Досадно, досадно!—говорил Владимир Ильич, поглядывая на часы. — А ведь меня ждут в Кремле ровно в шесть. Но теперь уж и думать нечего об этом.

Все молчали, подавленные, расстроенные: нештучное дело, когда Ленин опаздывает в Кремль! И какой можно найти выход?

— Ну, поломалась бы хоть поближе к Москве!—продолжал Владимир Ильич. — Могли бы по телефону сообщить. А ведь отсюда никак не дашь о себе знать. . .

Ян Янович, куда-то отлучившийся на минуту, быстро подошел к нему:

— Товарищ Ленин, вы можете вернуться в Москву поездом. Здесь они ходят два раза в сутки — ранним утром и в пять вечера. До вечернего еще час времени. На нем и уедете!

— Идея недурна, что и говорить! — Ленин усмехнулся. — Но она неисполнима, товарищ Зауринь! Пока мы доберемся до станции, поезд успеет побывать в Москве и вернуться обратно. Ведь тут верст восемнадцать, а то и все двадцать. . .

— Да, пожалуй, все двадцать! — подтвердил Ян Янович.

— Вот видите! Нам и к семи не успеть на станцию, а вы говорите о пятичасовом поезде. . .

— Попробуем по-другому!—сказал Ян Янович. Ленин поглядел на него без удивления:

— Вы, товарищ Зауринь, говорите так, как будто у вас в запасе имеется какое-то чудо!

— Кто знает, может быть, и имеется! — улыбнулся вдруг Ян Янович и посмотрел на широкие ворота в заборе, окружавшем конюшни.

Точно повинуясь его неслышной команде, ворота раскрылись. Широкоплечий чернобородый человек, похожий на цыгана, в тулупе с кушаком, вывел под уздцы коня в санной упряжке.

Конь был рослый, статный, с крутой, лебединой шеей, во лбу белая отметина в виде звезды, ноги — струнками. Он переступал ими, точно играя, но в каждом движении чувствовалась стремительная, упругая сила. Под стать ему были и саночки — небольшие, легкие, на высоких и тонких полозьях, с медвежьей полостью на сиденье.

— Какой красавчик! — восхищенно сказал Владимир Ильич, не сводя взгляда с коня. Он как будто сразу позабыл о неприятном происшествии. — Изумительный красавчик! Точно из сказки.

— Вот этот красавчик и доставит вас на станцию! — сказал Ян Янович. — А повезет Кондрат Савельевич, очень опытный человек. Можете ему довериться!

Кондрат Савельевич влез на облучок. Ленин посмотрел на часы, покачал головой.

— До поезда осталось сорок пять минут! И вы считаете, что можно успеть?

— Дело проверенное, — ответил Ян Янович. — Садитесь, Владимир Ильич, не теряйте времени.

Тут же быстро порешили, что шофер тоже поедет в Москву, вернется на грузовике и отбуксирует машину в кремлевский гараж.

Уселись в саночки, укрылись до пояса медвежьей шкурой. Кондрат Савельевич сделал рукою какой-то знак, санки легко тронулись.

— Счастливого пути! — кричали им вслед.



Тонко позвякивали полозья, в лицо летела снежная пыль. А конь, точно дорвавшись до своего любимого занятия, все убыстрял бег.

Промчались мимо избушки лесника. Он колот дрова у порога. Владимир Ильич только успел махнуть ему рукавицей, и уже далеко позади осталась избушка, быстрее побежали по сторонам дороги разлапистые белые ели, высоченные заледеневшие сосны. Кондрат Савельевич оборачивался иногда к своим седокам, кричал:

— Лицо закрывайте! Заморозитесь!.. Крепче держись — поворот!

Окончилась лесная дорога, стало светлее, просторнее. Вместо елей и сосен побежали мимо телеграфные столбы, редкие домики, осевшие в снежных полях. Отчетливее засвистел в ушах ветер. Казалось иногда, что санки отделяются от дороги и летят по воздуху.

Вдалеке завиднелись дымки, возникло маленькое, точно из игрушечных кубиков здание вокзала, поднялась кирпичная водокачка. Все ближе и крупнее делаются они, все звонче поют полозья.

И вот полосатый шлагбаум перегораживает дорогу, стальное сплетение рельс за ним, будочка с фонарем.

Приехали!

Владимир Ильич откинул меховую полость, достал часы.

— Подумать только, еще целых двенадцать минут до поезда... Если он не опоздает, то, пожалуй, и в самом деле успею к шести... Вот это быстро! В жизни такого не испытывал.

Кондрат Савельевич широко улыбался. Его

окладистая черная борода заиндевела и казалась совсем седой. Придерживая коня, он стал медленно водить его по дорожке возле платформы.

— Наш орловский рысак. Чистейших кровей. В мире нету лучшей породы, — говорил он густым, окающим басом. — Один такой уцелел со всей графской конюшни. . . И саночки графскиегодились. Он их за семью морями заказывал, в тридесятм государстве. . .

Шофер пошел на вокзал разузнавать о поезде, а Ленин, шагая рядом с Кондратом Савельевичем, оживленно рассказывал:

— В молодости приходилось немало ездить на лошадях. Точнее сказать, немало меня возили. Ведь я еще помню ямщиков, тройки с бубенчиками, постоянные дворы. От нашего Симбирска до железной дороги было сто верст. . . А когда возвращался из ссылки, то пришлось триста верст проехать по Симбирскому тракту. . . Конечно, не с такой быстротой, — улыбнулся он и погладил коня по атласной шее. — Смотрите, нисколько не разгорячился. . . Чудесный, сказочный конь. . . А как его имя?

— Имя у него сурьезное: Шайтан!

— Шайтан? За что же его так? — Владимир Ильич даже приостановился на секунду. — Ведь шайтан — это злой дух!

— Все графские выдумки! — ответил Кондрат Савельевич. — От рождения зачислен Шайтаном в графских книгах. И предки его тоже: кто Пират, кто Змей. . . Барские штучки!

Так, разговаривая, ходили они по снежной дорожке. Кондрат Савельевич поглядывал сбоку на своего спутника. Ленин! Владимир Ильич! И никто

вокруг не знает об этом. Вот подкатили на самодельных лыжах мальчишки, любят конем. Прошли мимо женщины, по глаза укутанные в платки, с мешками, с бидонами. Пробежал мимо железнодорожник в распахнутом кожаном пальто. И никто из них не знает, что здесь, на станции, Ленин!

Вернулся шофер и сообщил, что поезд придет без опоздания, осталось три-четыре минуты. Вскоре послышался сиплый гудок, народ на платформе забеспокоился.

Точно вспомнив что-то, Владимир Ильич быстро снял рукавицы, достал из сумки жестяную коробочку и, вытряхнув себе на ладонь ее содержимое, поднес коню. Тот покосился лиловым глазом, потом осторожно стал брать мягкими губами кусочки мелко наколото сахара.

— Нет, не могу называть тебя Шайтаном, — сказал Владимир Ильич, глядя его свободной рукой. — Такой красавчик — и вдруг Шайтан!

Шофер обеспокоенно глядел на подходивший поезд:

— Владимир Ильич! Как бы мы не остались.

— Все! Иду! — ответил Ленин и крепко пожал руку Кондрату Савельевичу:

— Спасибо! Всем вам большое спасибо. Выручили... А я, кажется, и поблагодарить товарищей не успел... 4

В том же году, осенью, Яну Яновичу довелось побывать у Ленина в Кремле. Дело на заводе разрасталось, нужна была крепкая помощь, и, памятуя слова Владимира Ильича, решил к нему обратиться.

Все оказалось проще, чем думалось. Внизу, из кремлевской будки, позвонили в ленинский секретариат, сообщили, что прибыл товарищ Зауринь Ян Янович с конного завода.

Ян Янович с бьющимся сердцем стоял возле дежурного и слушал, как произносят в трубку его имя и фамилию. Прошло минут пятнадцать, и из секретариата ответили, что товарищ Зауринь может получить пропуск...

Начав разговор с Яном Яновичем, Ленин сразу же спросил:

— А как поживает тот красавчик конь?.. Позвольте... минутку... как же его имя?

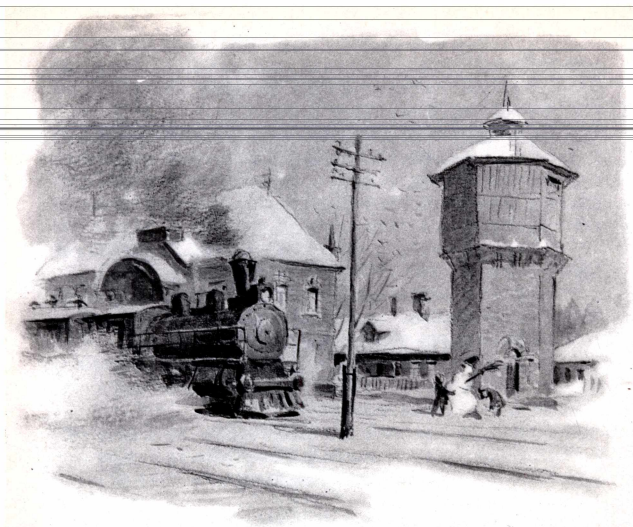
— Шайтан! — подсказал Ян Янович.

— Да, да, Шайтан! — засмеялся Владимир Ильич. — Помню, что какая-то нечистая сила, а какая именно — запаматовал!

— Теперь он уже не Шайтан, — сообщил Ян Янович. — Он у нас так и назван теперь — Красавчик. И в книгах записан заново, и уже откликается на новое имя!

— Если сумеете, передайте ему привет! — улыбнулся Владимир Ильич.

Много лет прошло с той поры. И много лет сейчас товарищу Зауриню. Но стариковская память цепко хранит каждую мелочь, которая связана с Лениным. И мы, затаив дыхание, слушаем сегодня его рассказ, как зимним днем приезжал Ленин на конный завод, как потерпели аварию его автосани, как мчал его на станцию быстрого коня.



ДЕЛЕГАТ С УРАЛА

(Из повести)

По расчетам главного — «если не будет никакого чепе» — оставалось пути до Москвы суток на трое. Говорили, что на станции Чаяново последний раз будут менять паровоз и запасаться топливом.

И вот прибыли в Чаяново. Веселый кирпичный вокзальчик был ярко освещен солнцем. Галки пры-

гали на снегу. Около водокачки стояла снежная баба. Мальчишки катались на самодельных лыжах. Маленький пес бегал за ними и залиристо лаял. За домиками станционного поселка синел далекий лес. Где-то далеко посапывала лесопилка.

Едва остановились, по вагону пошел заградительный отряд — проверяли документы и багаж. Порядка здесь было больше, сказывалась близость Москвы. Агенты трансчека устанавливали строгую очередь на посадку.

Впервые за долгое время Авангард почувствовал себя лучше. Ноги еще дрожали при каждом шаге, но зато голова была ясная. Он взял горсть снега, скатал и бросил в галку, сидевшую на бревне. Сразу зануло плечо от усилия. «Здорово ослаб», — подумал он, разглядывая свою исхудавшую руку. А все же хорошо было сейчас на сердце и верилось, что Москва близко, что доведется ее увидеть.

— Гражданин, лепешек горячих не надо ли?! — подошла торговка.

Авангард выменял за горсть соли плоскую темно-коричневую лепешку и пяток заолодевших антонов. Давно уже не приходилось есть с аппетитом. «Значит, поправлюсь», — сказал он себе и крепко потер замерзшие руки.

Еще издали он увидел у теплушек каких-то людей. «Опять проверяют, что ли?» — подумал он и ускорил шаг. Высокий человек с отвислыми желтыми усами и длинной жилистой шеей, торчавшей из заношенного кашне, вопросительно посмотрел на подошедшего Авангарда. Рядом с ним стояли двое парней в шинелях, с винтовками и гранатами у пояса.

— Ты кого тут ищешь, товарищ? — обратился высокий к Авангарду.

— А ты кого ищешь?! — в тон ему спросил Авангард.

— Ищу сопровождающих! .. Не видал, кто находится при этих вагонах?

— Я нахожусь при этих вагонах! А вам чего нужно? .. Тут уже проверяли сегодня!

— Ага, значит, ты. .. — неуверенно сказал высокий и поправил нитку за ухом, державшую очки. — Ну, тогда покажем друг дружке наши документы.

Порывшись в пальто, он подал Авангарду кусок бумаги с лиловым штампом.

«Дано сие т. т. Калачу Ф., Гусеву М., Омельченко И., — прочитал Авангард, — работникам Наркомпрода в том, что им поручается встретить и доставить в адрес Наркомпрода (Москва) вагоны, следующие с продовольствием, за №№... (телеграмма Торцевского Ревкома от 12/II 1919 г.), что и удостоверяется подписями и приложением печати».

Прочитав бумажку, Авангард предъявил свой мандат и накладные.

— Вот мы и познакомились, — сказал высокий. — Я товарищ Калач, а эти товарищи — Гусев и Омельченко, все рабочие! Мы тут давненько торчим! .. Еще третьего дня ждали с Тумры!

— Да там заминка вышла! Отцепляли вагон!

— Так-с, — сказал Калач. — Тогда полезем в теплушку, что ли?

Авангард все еще медлил.

— Так вы, значит, из самой Москвы?!

— А как же, милый. Прямо из нее! — ответил

Калач, задирая пальто и неловко закидывая длинные ноги.

Авангард чуть не засмеялся: «Вот так калач! Это скорее макаронина, а не калач!»

* * *

Казалось, что он давно уже затерялся в нескончаемой сутолоке дороги, что вагоны, не зная цели, блуждают в путанице рельс, станций и полустанков. И вот далекая Москва напомнила о себе, — пришел конец одиночеству. Хорошо было теперь поговорить с москвичами, посидеть с ними у огонька.

— Сейчас в Наркомпроде навели порядок; там рабочие заворачивают делами, — рассказывал Калач. — Конечно, всех сразу не раскроешь, а повымели оттуда и контру, и спекулянтов, и всяких темных людишек! Владимир Ильич сам наблюдает за посылкой продотрядов... Теперь уже нам чуток полегче жить, как маршруты двинулись...

«Буржуйка» чадила горьким дымом, Калач кашлял, вытирал слезящиеся глаза, но от печки не отсаживался — следил за котелком, куда Авангард щедро засыпал пшена.

— Каша — не суп, она должна преть, увариваться, — объяснял он, подбрасывая в топку несколько щепочек. — Надо, чтоб под нею жар был ровный, постепенный — тогда каждая крупинка раскроется во всей полноте и отдаст свой навар...

Авангард с удовольствием слушал его. Своей хозяйственной сноровкой и складной речью Калач напоминал ему Башкатова. Точно так же и Башка-

тов сидел у «буржуйки», ворошил дрова самодельной кочергой, что-нибудь рассказывал, посмеивался. . .

— Готово! — объявил Калач и густо присыпал кашу солью.

Пока соль таяла, он снял очки и вынул из кармана деревянную ложку.

Обжигаясь, ели горячую, крутую кашу, поочередно лазая в котелок.

— Хороша каша! — сказал Калач, обсасывая усы. — Давно мы такой не едали. . . У нас она знаешь какая? Крупина за крупиной гоняется с дубиной. . .

Свернули сигарки, закурили. Калач добродушно гудел сквозь усы:

— А я, признаться, как тебя увидел, думаю: «Чего это они с таким делом воробьев посылают? Это, — думаю, — легкомысленно!» Ну, теперь вижу свою ошибку и хочу пожать твою руку. . . Вот так! . . И если ты, дружок, прошел через всё с подобной болезнью, то, значит, ты трехжильный! Худощавость твоя очень полезная. Есть толстые люди — тем хуже. Я сам переболел в прошлом году; у меня градусник лопнул под мышкой. . . А вот приятель был у меня, толстый мужчина, сырой — тот не выдержал, помер. . .

Мерно стучали колеса под вагоном. Теперь стук их не казался Авангарду таким тягостным. Незаметно улетало время в расспросах и разговорах.

— Да! — сказал Калач. — Жалко твоего товарища! А что можно сделать? Приходится болеть душой, приходится иметь жертвы! Иначе ничего не завоюешь!

О Москве он говорил с какой-то особенной улыбкой:

— Москва, она, знаешь ли... да, пожалуй, и слова такого не найдешь. Пуп земли? Нет, не то, это смешное!... Люди приезжают из дальних мест, удивляются, как это мы сидим на подобном паечке, а работаем во всю моготу!... А потом, глядишь, и сами остаются. Таких случаев сколько хочешь. Жизнь в Москве очень натянутая... горящая... Ну, а насчет того, дойдешь ли до Ленина, — этого я сказать не могу. Этого заранее не скажешь... .

Он зажмурился.

— Очень уж огромный человек, даже думать о нем головокружительно... А вблизи — такой же, как мы все! Ну, совсем такой же, понимаешь? Я Ленина видел вот как тебя, рядышком! Наверно, с полчаса не давали ему говорить, все грохали ладошками... Он вынул часы, очень недовольно поглядывает, ждет: дескать, время, время! А ребята давай еще пуще... Куда там!

От «буржуйки» поднималось блаженное тепло. Омельченко и Гусев дремали, привалившись к мешкам.

— А не соснуть ли и нам малость? — спросил Калач. — А утром, бог даст, будем в Москве!

* * *

Последняя ночь в теплушке. Густой, плотный мрак. Рядом вповалку спят москвичи. Кто-то из них тонко свистит носом, скорее всего Калач: наверно, и во сне он любит смешить... .

Авангард завидовал им. Хотелось крепко заснуть и пробудиться в Москве, а сон не приходил,

память настойчиво подсовывала какие-то кусочки, обрывки... Бесконечно давно было это, когда он вошел в кабинет Крупатких. Дни, убежавшие вместе с телеграфными столбами, сливались в один безмерно длинный, тягучий день. Только Башкатов ярко стоял перед глазами, широкоплечий, веселый, в шинели со следами споротых погон.

«Надо же спать», — говорил себе Авангард и сжимал веки. Но все равно он видел сквозь мрак, сквозь стены теплушки, как проплывают мимо столбы и будки, как тень от поезда ползет по снежному полю.

В продольном теплушечном окошке уже просвечивал мутный рассвет, а он так и лежал без сна. Когда поезд останавливался, сердце сжималось от тоскливого чувства. Опять стоянка! Опять какой-нибудь бревенчатый вокзальчик и гладкое белое поле за ним. Сколько придется здесь простоять?

Рассвело. Тянуло утренним холодом. А москвичи крепко спали под шинелями. Калач лежал, подкорчив костлявые ноги, надвинув шапку на щеку; из-под нее торчал длинный, волнистый нос, похожий сбоку на петушиный гребень; внезапно он сел, сморщился, потер затекшую ногу.

— Не спишь? Тоже, видать, ранняя птица! Могу сообщить, что сейчас половина седьмого... Меня в этот час точно шилом кольнет в спину! Двадцать семь лет вставал по гудку!.. Ну, молодцы! — крикнул он своим товарищам. — Вставай, приехали!

Но молодцы продолжали храпеть.

— Эй, каша поспела, вставай!

Из-под шинели поднялась всклокоченная голова.

— Ключут на кашу, — засмеялся Калач.

Он затеял с товарищами какой-то длинный разговор, обращался к Авангарду, но тот ничего не слышал: смотрел, как уплывают крыши поселков; сдерживал какую-то внутреннюю лихорадку, смутный страх; с каждым поворотом колес — все ближе и ближе Москва.

— Вижу, волнуешься, дружок! — улыбнулся Калач. — Безусловно, когда первый раз подъезжаешь к матушке Москве — очень головокружительно! Помню, тоже не отходил от окошка. . . Это, конечно, было еще при царе Горохе. . . Везде городовые, телеги, рынки, в церквах звонят. . . А я пробираюсь по стенке и думаю: «Господи, хоть бы шли все в одну сторону, а то — кто куда! . .»

Авангард не отрываясь смотрел в раскрытую дверь. Потянулись хмурые склады, осевшие в землю вагоны, похожие на огромные чемоданы без ручек. Вдали, над приземистыми кирпичными зданиями, поднялись трубы. Внизу — Московская улица. Он увидел трамвай первый раз в жизни. Трамвай мчал площадку с дровами. На дуге его вспыхивали зеленые искры.

Дальше, дальше!

Широкое полотно перед вокзалом, стальное сплетение рельс, длинная каменная коробка депо. И вот потемнело небо над теплушкой, гулкое эхо прогремело под стеклянными сводами.

— Приехали с орехами! — сказал Калач.

— Как приехали? Это всё?

— Всѐ! — подтвердил Калач. — Дальше стенка! Тупик!

Авангард соскочил на платформу. Она колеба-

лась под ним, как палуба. Сквозь пробоины стеклянной крыши падали комочки снега.

Он посмотрел на указатель:

— «В город!»

За стенами вокзала приглушенно шумел еще неведомый ему московский день.

* * *

После бессонной ночи было ощущение какой-то особой легкости в теле, почти невесомости. Авангард подписывал акты и ведомости о сдаче груза, отвечал сразу на десятки вопросов, проверил, как выгружали ящик. Кругом толпились люди, здоровались, хлопали по плечу.

Рядом он видел улыбающееся лицо Калача; его знакомили с уполномоченным Наркомпрода, человеком огромного роста, заросшим до ушей коричневой щетиной. Кто-то кричал, чтобы вагоны подавали к складам.

Потом Авангард очутился в темной вокзальной комнате, где пол был усыпан опилками и стояли мрачные дубовые столы. Представитель Наркомпрода вызвал по телефону коменданта Кремля и сообщил, что прибыл делегат с Урала и что при нем находятся подарки от рабочих и красноармейцев для передачи товарищу Ленину. «Как фамилия?» — поспешно спросил он. Авангард запнулся:

— Авангард. . . Мальцев!

— Ангар Малец! — крикнул уполномоченный в трубку и, повернувшись к Авангарду, сообщил: — Сейчас пришлют транспорт из Кремля!

Странное чувство охватило Авангарда. О нем

ли это разговаривают сейчас? Возможно ли, что он, именно он находится в Москве? И опять затрепетало сердце от какого-то необъяснимого волнения. . .

Вошел молодцеватый курсант, спросил, где товарищ делегат. Увидев делегата, усмехнулся.

На площади, против вокзального подъезда, пыхтел грузовичок, как видно переделанный из легковой машины. Ящик осторожно положили в кабину. Грузовичок дернулся, оставляя позади удушливое облако. Ехали по безлюдным улицам, мимо заваленных снегом бульваров с пустыми, лиловыми деревьями.

Авангард осматривался, шутил с курсантами: какое-то веселое оживление подталкивало его изнутри. В голове уже складывались легкие и значительные слова, которые он будет произносить.

Выехали на широкую площадь. Перед глазами возникли зубчатые стены и башни Кремля. Заснеженная площадь была исполосована следами машин.

У ворот к ним подошел военный, что-то спросил у шофера и махнул рукой. Грузовичок въехал в ворота.

— А как же ящик? — забеспокоился Авангард, слезая вслед за курсантами.

— Не беспокойтесь, товарищ делегат! Ящик доставят по назначению. Теперь вот сюда! . . . Нужно получить пропуск и талон на санобработку!

Хотелось увидеть и запомнить каждую мелочь, но все рассеивалось, разбегалось перед глазами, и не было ощущения, что он находится в Кремле.

Еще недавно это слово вызывало в его воображении вид грозной крепости с бастионами, амбразурами, подъемными мостами, пушками и войсками,

марширующими под барабанный бой. Но он шел по городской улице мимо обыкновенных домов, шаркая по булыжной мостовой. Нигде не было ничего воинственного, если не считать пушки с отвалившимися колесами — она валялась у ограды, возле кучи бревен и битого кирпича.

В бюро пропусков он предъявил все свои бумаги, вплоть до школьного удостоверения с самодельною печатью. Начальник бюро, с глубоко залегшей складкой между бровей, улыбнулся и задал делегату с Урала несколько коротких вопросов. Вскоре ему вручили пропуск, и он не без гордости прошел мимо ожидавших здесь людей, которые посмотрели на него с удивлением и, кажется, с завистью.

Потом он «проходил санобработку». В тесной бане ему дали целый бачок горячей воды (холодной сколько хочешь), жесткую мочалку и кусок клейкого мыла, пахнувшего рыбой.

Он намылился, сел на лавку и вдруг с мучительной, обжигающей душевной болью подумал, что вот здесь, рядом с ним, должен был находиться сейчас Башкатов, брызгаться водой, сверкать глазами и зубами: все хорошо, добрались до Москвы, сдали груз в полном порядке, пришли в баньку... Точно растаяло что-то внутри и распался какой-то ледяной обруч, стискивавший горло, и он беззвучно, про себя, заплакал, поливая голову водой, так что никто из мывшихся рядом не мог заметить его слез.

После бани Авангарда проводили к коменданту. Комендант собирался уходить. Он улыбнулся Авангарду, крепко сжал ему руку.

— Здорово, товарищ! С Урала? Долго ехал?!



Ого, порядком! Садись отдыхай! Садись на диван, здесь мягче. . .

Авангард сел. Все вокруг казалось очень странным — комната, диван, стол с клеенкой, стулья.

— Ящик отнесли на квартиру Владимиру Ильичу! — просто сказал комендант. — У тебя есть какие-нибудь поручения?

Авангард достал из кармана документы, письма.

— Хорошо, держи при себе! Отдашь в секретариате. . . А пока, значит, располагайся здесь, как дома, отдыхай. . . На кухне есть вода! Санобработку прошел? Отлично! Тетя Нюша! . . Возьмите шефство! — крикнул он в дверь. — Мы разузнаем, какова обстановка, сообщим тебе!

Оставшись один, Авангард на цыпочках, точно боясь кого-нибудь разбудить, подошел к зеркалу. Он с интересом рассматривал себя, потрогал лоб, щеки, подбородок. Лицо было какое-то чужое, воспаленное, с красными веками. А веснушки выглядели еще крупнее, — особенно одна, на самом кончике носа. Может быть, так кажется, потому что очень близко на себя смотришь? Он чуть отошел от зеркала. В это время открылась дверь. Авангард смутился и стал кашлять. Вошла пожилая женщина в красном платочке, с котелком в руке, а за нею комендант.

Женщина поставила котелок на стол.

— Поешь! — сказал комендант. — Садись, ешь, не стесняйся!

Авангард сел к столу. В котелке плавали селедочные головки и ломтики разваренной сушеной моркови. На тарелочке лежали два плоских ломтика хлеба.

— Ну вот, дело такого рода, — сказал комендант. — Сейчас идет заседание Совнаркома, а это уж до ночи... Так что сегодня, конечно, ничего не выйдет! Завтра, возможно, будет прием. Тут есть еще одна делегация, ходоки от Зеленинской волости; завтра все выяснится!

Он посмотрел на часы,

— Ты меня извини, товарищ, мне надо бежать. Может, вечером выберу времечко, потолкуем с тобой! Вот тут газеты, журналы, если желаешь! А то ложись отдыхать... Короче говоря, действуй по собственному разумению...

Он ушел. Авангард прошелся по комнате, сел на диван. Было необыкновенно тихо — ни единого звука вокруг. Хотелось сидеть вот так, в полной неподвижности, жадно слушать эту удивительную, неправдоподобную, сладостную тишину, которая точно ласкала его мягкими прикосновениями. И он долго сидел не шевелясь, полузакрыв глаза, впитывая в себя давно не испытанное чувство покоя.

Пронзительно резко зазвонил вдруг телефон. Авангард вскочил с бьющимся сердцем: что делать? Он же тут посторонний!.. А молоточек звонка колотился настойчиво, требовательно, точно видел, что у телефона стоит человек и не отвечает. Авангард подошел к деревянному ящику, снял трубку. Гортанный, искаженный голос задрезжал ему в ухо:

— Кто у телефона?

— Это... — Авангард глотнул воздух. — Это... делегат... который... с Урала!

— А-а-а, товарищ делегат... Это комендант говорит. Ну, как ты там, не скучаешь? Стало быть, сегодня отдыхай! Скоро тебе принесут ужин!

Авангард посмотрел на трубку, усмехнулся и повесил ее. Стемнело за окнами. Напротив, на выступающей стене соседнего дома, загорелась тусклая лампочка на кронштейне. Значит, приближается завтра...

Пришла женщина в красном платочке, с маленьким подносом в руке.

— Чего же в темноте сидите? Свет уже дали! — приветливо сказала она, щелкая выключателем. — Садитесь, ужинайте!

Она поставила на стол тарелку с ломтиком хлеба, стакан с какой-то темной жидкостью.

Авангард робко спросил:

— Это из кремлевской столовой?

— Из нее! Садитесь, кушайте!

Стараясь прочувствовать каждый глоток, Авангард медленно ел кремлевский кисель из хлебного кваса, а женщина тем временем принесла подушку, простыни, одеяло и принялась стелить на широченной кровати. Авангард посмотрел на эту кровать с некоторым испугом. Неужели это ему?!

— Комендант велел вам спать ложиться! — улыбаясь, сказала женщина. — А как ляжете, не забудьте погасить свет, чтоб зря не горел. . . А если комендант придет, то тут ляжет, на топчане. . . У нас часто гости ночуют!

Она собрала со стола посуду и ушла, пожелав Авангарду доброй ночи.

Он посмотрел на постель, на белую подушку, на край белой простыни, видневшейся из-под одеяла, выключил свет. Медленно, смакуя каждое движение, залез под одеяло, положил голову на податливо-мягкую подушку, приятно ощущая на себе чистое

белье, которое сам выстирал в теплушке и берег для приезда в Москву. Сонная истома сразу окутала его, сладко оцепенели пальцы. И вот, под подушкой, у самого уха, застучали колеса, и он, покачиваясь, двинулся в чугунном грохоте. . .

* * *

Комендант внимательно посмотрел на стоявшего перед ним маленького человека в рыжей, потрескавшейся кожанке. Тот зябко ёжился и дышал, как на морозе. Казалось, что он сейчас начнет стучать зубами.

— Выпей чаю! . .

— Нет. . . не могу! — сдавленным голосом ответил Авангард.

Комендант ободряюще похлопал его по плечу.

— Ты не волнуйся, землячок, не нервничай. . . С Владимиром Ильичем легко разговаривать. Он и сам слушает и вопросы задает. . . Не торопись, отвечай спокойно, и все будет в порядке.

Авангард молча кивнул головой.

— Отправились! — сказал комендант. — Назначено на одиннадцать! . .

Прошли несколько постов. Пощелкивая, взлетел лифт — еще не виданная Авангардом диковина. Он скользнул по ней рассеянным взглядом и сразу же забыл.

Потом он переступил порог светлой комнаты, где стояли простые столы и стулья, заваленные бумагами, слышалось стрекотание машинки.

Женщина, сидевшая за столом, посмотрела на Авангарда, поздоровалась и пригласила:

— Садитесь, товарищ!

Он сел на кончик стула. Хотелось откашляться, в горле застрял комок.

Женщина коротко спросила его, откуда он пришел, кем делегирован, цель приезда.

— Вы имеете передать что-нибудь товарищу Ленину?

Авангард достал конверт и бумажку с печатью Ревкома.

— Посидите! Я сейчас вернусь!

Она взяла письмо, бумажку и вышла в соседнюю комнату. Авангард опасливо и негромко откашлялся. Не помогло — вязкий комок так и остался в горле. Он посмотрел на дверь, куда скрылась женщина, и ему представился бесконечный ряд комнат, одна за другою, а где-то в конце — огромный зал, где сидит Ленин... «А может, и не допустят — только передадут конверт — и всё!»

Он потрогал лежавший в кармане старинный медный пятак, который всегда носил с собою, и загал: «Если орел, — пустят, если решка, — нет!»

Открылась дверь из комнаты. Авангард покраснел, уронил монету. Она звякнула об пол и закатилась под стул. Ему показалось, что женщина смотрит на него насмешливо и неодобрительно. «Поднимать пятак или нет?» — в смятении думал он.

— Вы можете пройти к Владимиру Ильичу! — сказала женщина. — Вот сюда, пожалуйста!

Авангард встал, сделал несколько неуверенных шагов к двери, потянул ручку, дверь не поддавалась. Он беспомощно оглянулся.

Женщина улыбнулась, и лицо ее стало добродушным.

— Толкайте от себя!

Он толкнул дверь, остановился. Ослепительные потоки света лились сквозь протертые, блестящие стекла; пыль крутилась затейливым столбом, насквозь вызолоченная солнцем. Он стоял жмурясь, ничего не видя перед собой.

— Входите, товарищ, садитесь! — услышал он приятный, чуть хрипловатый голос. — Я сейчас освобожусь!

Значит, не существует никаких комнат и залов. Только несколько шагов до стола, за которым сидит Ленин.

Авангард дошел до кресла и сел. Кресло было мягкое и очень глубокое. Крышка стола оказалась почти вровень с его глазами, и первое, что он увидел, был прибор из уральского камня, блестевший на солнце яркой полировкой. Рядом лежал конверт.

Вид этих вещей, ехавших с ним так долго, подействовал успокоительно. Он перевел взгляд выше и увидел Ленина, сидевшего на стуле с высокой спинкой. Наклонившись, прижав ухо к телефонной трубке, Ленин напряженно слушал; рука с карандашом быстро бегала по бумаге.

Осторожно, точно боясь произвести шум, Авангард повернул голову и осмотрелся. Шкафы и полки с книгами, кожаный диван, портрет Маркса в раме. По стенам большие географические карты. Похоже на их школьную учительскую, только здесь дверей больше — целых три. За одной дверью слышалось постукивание телеграфного ключа.

Авангард снова украдкой взглянул на Ленина. Как раз в этот момент Ленин откинулся на спинку стула и рассмеялся в трубку:

— Не можете отвыкнуть от твердого знака? А вы, батенька, дома специально поупражняйтесь! — Он положил трубку, встал и протянул руку. — Здравствуйте, товарищ! Извините, что заставил ждать!

Глаза на его смуглом лице щурились, улыбались, белый мягкий воротничок чуть свернулся набок.

Авангард посмотрел на него с радостным изумлением. Томительное чувство, подкатывавшее все утро к сердцу, ушло бесследно.

— Начнем вот с чего! — сказал Ленин. — Вы сегодня ели что-нибудь? Завтракали?.. Только правду!

Этот вопрос свалился на Авангарда врасплох. Он часто заморгал рыжими ресничками. Что же делать? Ложь с первого слова? И все же надо решиться...

— Я завтракал! — храбро сказал он. — Чай пил у коменданта!

— Правду говорите? — Ленин пытливо взглянул на него. — Ну, тогда садитесь поудобнее и будем толковать! — Он поискал что-то на столе. — Простите, запомнил фамилию.

— Мальцев... Авангард! — сказал Авангард и покраснел так густо, что веснушки на его лице сделались невидимыми.

Но Ленин, кажется, ничего не заметил. Он мягко спросил:

— Сколько товарищей сопровождало вагоны?!

— Сопровождало нас двое!.. — бодро начал Авангард и остановился.

Больше он ничего сказать не мог. Напротив висела карта, испещренная стрелками. Взгляд его

скользнул по витой линии Уральского хребта. Где-то здесь начало пути... И точно опрокинулись на него разом тряские дни и ночи, захлестнули до горла. Как рассказать об этом?!

Но тут пришла помощь. Быстрые, короткие вопросы повели его вперед, не сбивая и не давая оглядываться по сторонам. И вот станция Липская, зарево над далеким лесом, Башкатов с винтовкой за плечом...

— Да, дорого мы платим! — сказал Ленин. Глаза у него сузились, потемнели, пальцы стиснули карандаш. — Не хотят отдавать нам хлеб... — добавил он медленно и угрожающе. — Хотят взять нас измором!..

«Вот Ленин узнал о Башкатове», — подумал Авангард.

Ленин что-то отметил в раскрытой тетрадке, внимательно посмотрел на своего собеседника.

— Вы плохо выглядите! — неожиданно сказал он. — Устали? Нездоровы?

— Нет, я очень здоров! — торопливо ответил Авангард. — И не устал, нет!

Он чувствовал, что эти короткие, быстрые вопросы подбираются к нему все ближе и ближе. Он даже вздохнул потихоньку... Да, так и есть, — Ленин спрашивает о родителях, о школе, в каком он классе, как занимается...

— Кончил трехклассную школу... — упавшим голосом начал Авангард. Он страдал сейчас оттого, что и здесь разговор пришел к этой неизбежно тягостной теме. — Потом в городском четырехклассном училище! Перешел в четвертый класс... И потом как раз произошла революция... А потом...

— Захватила политическая деятельность! — закончил за него Ленин.

— Да! — растерянно согласился Авангард и весь как-то сник в своем мягком кресле.

Следующий вопрос может превратить его просто в неуспевающего ученика, который два года числился в четвертом классе.

Но вопросы, устремлявшиеся к нему, точно стрелки на карте, висевшей перед глазами, вдруг побежали в стороны.

— Есть ли саботажники среди учителей? — спрашивал Ленин. — Получают ли учащиеся завтраки? Каков состав учащихся? Какая политическая работа ведется среди учеников и кто ее возглавляет?

У Авангарда заблестели глаза. Да это же его жизнь!

Но опять быстрые и точные вопросы направили его к главному. Когда он рассказывал, как они, комсомольцы-учащиеся демонстративно порвали с ОУЧем, Ленин нагнулся, переспросил:

— С кем порвали?!

Авангард объяснил, что ОУЧ — это Объединение учащихся, но там засели скауты, бывшие гимназисты, которые только и знают, что устраивают танцульки с фантами...

Он вспомнил фразу из резолюции, принятой Укомом комсомола: «ОУЧ портит наше классовое сознание и уводит в сторону от пролетарской революции!»

Ленин сощурился:

— Кто это сказал?

— Это мы сами! — с самолюбивой ноткой в голосе ответил один из авторов резолюции.

— Мысль верная, но шаг неверный! — серьезно сказал Ленин. — Не надо было выходить из Объединения! Наоборот, на каждом собрании нужно разоблачать всю эту обывательскую чепуху... Разъяснять молодежи, с кем ей идти... Вы согласны?

Авангард молчал. У него начали гореть уши.

— Позвольте нескромный вопрос? — чуть улыбнулся Ленин. — Сколько вам лет?

Опять стрелки повернулись в его сторону, подобрались вплотную.

— Скоро шестнадцать! — ответил Авангард с застенчивой грустью.

— Скоро шестнадцать! — повторил Ленин. — Чудесно!.. Начало жизни. Но уже многое пережито и понято! Найден верный путь! — Глаза его заискрились. — С белогвардейцами скоро покончим, начнем восстанавливать, строить... Вы уралец, да? — быстро спросил он. — Знаете, кем вы должны стать? — Он торжествующе посмотрел на Авангарда и сам ответил на свой вопрос: — Горным инженером! Обязательно! Учиться будем! — сказал он со страстной настойчивостью. — Все пойдем учиться!

Авангард смятенно улыбнулся. Он вспомнил о своих друзьях, о своих ребятах, увешанных оружием. И сам он думал только об одном: конь, грызущий мундштук, роняющий нетерпеливую пену, казацкая бурка или гимнастерка в тугих ремнях, сабля и планшет через плечо, как у того краскома, который принимал в Торцеве парад всевобуча...

Низким басом загудел на столе телефон. Ленин снял трубку.

— Хорошо! — сказал он и покосился на часы. — Сейчас тридцать семь минут двенадцатого!.. Да-

вайте ровно в двенадцать! Предупредите, чтобы никаких опозданий.

Голос прозвучал резко, повелительно. Авангард невольно съехался в кресле: «Чего я сижу! Надо уходить».

Ленин положил трубку, повернулся к нему. От недавней строгости и следа не осталось.

— А вот продуктов вы мне привезли слишком много, столько и не съесть! — глаза его весело сощурились. — Но я не протестую... У нас есть слабые, больные дети. Вот мы их и подкормим... А вам не холодно в этой курточке? — вдруг спросил он. — Вы не замерзаете?

— Кто? Я? — Авангард усмехнулся. — Мы, уральцы, привычные к морозу!

— Это хорошо! — улыбнулся Ленин. Придвинув блокнот, он стал что-то писать, не прерывая разговора.

— Я тут пишу маленькое письмецо Торцевскому Ревкому, товарищам красноармейцам и рабочим. Их помощь для нас бесценна. И за эту чудесную вещь... — он посмотрел на чернильный прибор, — большая благодарность... Приятно знать, что она сделана на нашей советской фабрике.

Запечатав конверт, он взял со стола бумажку и прочел вслух:

— Торцевский Ревком... ходатайствует... газетного шрифта, клише... пишущую машинку... литературу... плакаты! Гм!...

Он задумался, осторожно обмакнул перо и написал несколько слов.

— Все еще адресую товарищу Свердлову... — глухо сказал он и положил перо. В кабинете слы-

шалось только тиканье часов. — Он тоже уральский работник... Повидался бы с вами обязательно!

Медленным движением Ленин отложил в сторону листок и вырвал из блокнота другой.

— Так! — сказал он, крепко потирая высокий лоб. — Отдайте это в секретариате! Постараемся удовлетворить все ваши просьбы...

Авангард поднялся с кресла. Пора прощаться, пора уходить.

Ленин встал из-за стола, подошел к нему.

— Хотите отдохнуть под Москвой? Отдышаться немного!...

Авангард посмотрел на человека, стоявшего рядом, на его усталое, желтовато-смуглое лицо с зоркими, поблескивающими глазами.

— Нет, товарищ Ленин. Надо обратно ехать! Меня ждут!

Ленин подошел еще ближе.

— Когда доберешься к себе, — сказал он тихо. — Передай товарищам, чтобы учились! Скажи, что я их прошу...

— Скажу, — ответил Авангард и заторопился. Что-то задрожало в горле, горькая щиплющая влага наполнила глаза.

Ленин дошел с ним до двери, крепко сжал руку.

— До свидания, уралец! Счастливого пути!



СОБСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР

Много народу собралось на вокзале в тот июльский день. Питерская капризная погода не подвела. Празднично светило солнце, на платформе алели знамена, пестрели букеты цветов. На огромном полотнище под стеклянными сводами вокзала было написано: «Да здравствует Второй конгресс

Коммунистического интернационала! Добро пожаловать в Красный Петроград!» Все с нетерпением ожидали, когда за легкими дымками на дальних путях покажется московский поезд.

Среди ожидающих был и оркестр. На него поглядывали с улыбками. Оркестр и в самом деле был не совсем обыкновенный. Старшему из музыкантов, трубачу, исполнилось, вероятно, лет четырнадцать. Младшим тут считался, наверно, барабанщик, который был одного роста с барабаном.

Как и все на платформе, музыканты тоже поглядывали, когда появится поезд, и было заметно, что они очень волнуются, ожидая своей минуты. Иногда, будто случайно, тихо звякали медные тарелки, хрипло вздыхала труба, погромыхивал, точно дальний гром, барабан. Дирижер — единственный взрослый человек в оркестре — грозил пальцем: тихо! Не баловаться!

Как-то неожиданно быстро вынырнул украшенный флагами паровоз. Все бросились к вагонам. В этой сутолоке оркестр немного растерялся, но почти сразу к нему подскочил распорядитель с красным бантом: «Ребятки, за мной!». Ребятки побежали, топая по деревянной платформе.

«Стой здесь!» — скомандовал распорядитель. Музыканты тотчас же построились, вскинули трубы, ожидая дирижерского знака. И тут они увидели, как из вагона вышел человек, которого с таким нетерпением ожидал огромный праздничный город. Надо было немедленно грянуть «Интернационал», но все они вместе с дирижером засмотрелись, пропустили момент. И разве можно было обвинять их в этом?

К Ленину подошли работницы в красных кума-

човых платочках и протянули большой букет. Видно было, как Ленин развел руками, точно не решаясь взять такую громадину. Вокруг него сомкнулась толпа встречающих.

Дирижер спохватился, поспешно взмахнул рукой, и звуки «Интернационала» заглушили вокзальный шум. Оркестр играл стройно, слаженно. Пожалуй, только барабанщик старался чуть больше, чем следовало, но и это не портило музыки.

Некоторое время музыканты ничего не видели сквозь тесную толпу, но вот она заколебалась, раздвинулась. С букетом в руках Ленин шел вдоль вагона. Он был без пальто, в кепке. Похожий и непохожий на свои портреты. Поравнявшись с оркестром, он остановился. Дирижер подал знак, и трубы дружно закончили мелодию.

— Это путиловцы, Владимир Ильич! — сказал кто-то из сопровождающих Ленина. — У них своя музыкальная школа. Существует с семнадцатого года!

— А-а-а, путиловцы! — улыбнулся Ленин. — Помню, помню! Какие молодцы!

* * *

...Ноябрь — месяц осенний, но зима семнадцатого года началась рано. Дует пронзительный ветер, сыплется колючая снежная крупа. Перед Смольным горят костры. У подъезда, заложив ленты в пулеметы, наготове сидят пулеметчики. Красногвардейские посты проверяют пропуска. А люди идут и идут. Сотни их проходят за сутки по длинным коридорам Смольного, где тускло, вполне накала, светят

лампочки, — надо экономить энергию. Идут рабочие, матросы, солдаты, ходоки-крестьяне с котомками, делегаты с фронта — к Ленину, к народным комиссарам.

В левом крыле Смольного — приемная Совнаркома, а рядом кабинет Ленина. Свет нередко горит здесь до утра, и красногвардейцы, сменяясь у ленинского кабинета, с тревогой думают: «Когда же он спит?»

Не всех, кто стремится попасть к нему, может принять Председатель Совнаркома, но никто не должен уйти из Смольного без ясного, точного ответа. Секретари в приемной внимательно беседуют с посетителями — кто, откуда, по какому делу.

Так было и с путиловцами, которые пришли сюда в конце ноября. Секретарша записала в тетрадке: Плотников М. А. — учитель начальной трехклассной школы. Фомин А. А. — рабочий пушечного цеха. Выслушав их, она сказала:

— Советую вам еще раз обратиться в Губернский отдел народного образования, а коротко говоря — в Губоно.

— Да мы уже обращались дважды, — ответил учитель. — И дважды получили отказ.

— Конечно, если поглядеть с поверхности, то дело наше странное, что ли, — взволнованно заговорил Фомин. — Так нам и объяснили в народном образовании: дескать, задуманное не ко времени, надо подождать... а мы, то есть многие путиловцы, сомневаемся, так ли нам объяснили. Потому и просим доложить о нас товарищу Ленину.

Секретарша вздохнула.

— Нет, товарищи, по такому делу, как ваше,

мы не можем отвлекать товарища Ленина, — она старалась говорить возможно мягче. — Настаивайте на своем перед Губоно. Это его прямое дело.

Учитель безнадежно махнул рукой:

— Настаивали! Ни к чему не привело!

— Товарищ, послушайте! — снова обратился Фомин к секретарше. — Мы разве не знаем, какие у товарища Ленина дорогие минуты? Они у него все сосчитаны. А может, все-таки найдется одна?.. Нам только спросить... Его и будет последнее слово!

Секретарша чуть приметно нахмурила брови, что-то хотела ответить, но тут скрипнула боковая дверь — и все трое обернулись.

На пороге кабинета в накинутах на плечи пальто стоял Ленин. Путиловцы сразу его узнали, хотя в ту пору ленинских портретов не было: еще до Октября Ленин выступал у них на заводе.

— О чем спор идет? — быстро спросил Владимир Ильич. — Вы ко мне, товарищи?

— К вам, товарищ Ленин! Мы с Путиловского!

— А-а-а, путиловцы, — улыбнулся Ленин, — заходите, заходите!

Он пропустил путиловцев вперед себя и закрыл дверь. В небольшой комнате шло, как видно, совещание. На столе лежала географическая карта с надписью: «Российская империя», над ней склонились несколько человек в военных шинелях. Чернобородый матрос стучал одним пальцем на пишущей машинке, пристроившись в углу.

— Садитесь, товарищ путиловцы, — приветливо сказал Ленин. — Садитесь, садитесь, в ногах правды нет, — настойчиво повторил он, видя, что



путиловцы замешкались. — Рассказывайте, с чем пришли.

Фомин поглядел на Плотникова: тебе говорить. Учитель крепко потер небритую щеку. Стало немного страшновато. А если верно, что не такое у них дело, чтобы являться сюда?

А дело было вот какое.

Путиловский завод огромный — целый город. Тысячи рабочих семей живут в этом районе, а школа одна, и всего лишь начальная, трехклассная. А вот для детей всяческого начальства — директоров, инженеров поглавнее, служащих покрупнее — высшее десятилетнее коммерческое училище.

Теперь, конечно, все поворачивается по-другому. После Октября на Путиловском заводе состоялось небывалое и очень громкое собрание. Было объявлено, что отныне отменены и трехклассные и коммерческие, а будет единая советская трудовая школа. Единая для всех детей, какие бы должности ни занимали их отцы.

Однако не всем отцам пришлось это по нутру. Некоторые из «бывших» людей говорили с насмешкой и злобой, что детям рабочих все равно не сравняться с детьми из «хороших семей»: те с малолетства воспитанные, обученные вежливым манерам и музыке, пению и танцам и всяким прочим тонкостям, где уж равняться с ними!

«Бывшим людям» рабочие ответили как и следует: они напомнили, что старые порядки миновали и не вернутся никогда. Теперь и дети рабочих будут учиться всем наукам и искусствам. И тут же на собрании постановили: просить Советскую власть открыть в их районе особую художественную школу,

где будут и музыкальные, и рисовальные, и танцевальные, и иные классы.

С этим и пришли путиловские представители в Губоно, но там их сразу охладили: да, интересная идея, что и говорить, но время сейчас не такое, товарищи! Повсюду голод, холод, разруха. В Питере — ни света, ни топлива, вода замерзает, трамваи не ходят, заводы закрываются, а вы со своей художественной школой! Придется повременить, дожидаться лучших времен. . .

Напрасно путиловцы говорили, что и сами они могут многое сделать, — ведь сотни рабочих рук придут на помощь. Ответ был все тот же: не такое время, товарищи, надо обождать.

На том и расстались с Губоно. И вот решили путиловцы спросить у товарища Ленина, правильно это или нет, и пусть он скажет последнее слово по этому делу!

Ленин сидел, подавшись вперед, точно боясь что-нибудь пропустить. Иногда он делал пометку у себя в блокноте. Когда учитель кончил говорить, он громко спросил, обращаясь ко всем, кто находился в кабинете:

— Слышали, что хотят путиловцы? Они хотят, чтобы их дети стали культурными людьми, а им доказывают, что сейчас время не такое, надо обождать! — Он повернулся к путиловцам: — Вы задумали прекрасное, замечательное дело. И время сейчас такое, именно такое время!

Он встал из-за стола, приоткрыл дверь и сказал секретарше:

— Соедините меня, пожалуйста, с Губоно!

Председатель Совнаркома никого не распекал,

ничего не приказывал. Он только сказал работникам Губоно, что Октябрьская революция произошла, между прочим, и для того, чтобы у путиловцев была художественная школа: это только начало, а потом у нас появятся десятки таких школ. И, несмотря на все наши тяготы, трудности, лишения, нужно помогать, поддерживать такие начинания и не медлить с этим ни одного дня.

И дело стронулось.

За Нарвской заставой не удалось найти подходящее помещение. В те годы Нарвская застава была далекой окраиной Петрограда: деревянные домики, бараки, пустыри, казенные кирпичные здания.

Пришлось отправиться на поиски в другие районы. Путиловцам разрешили занять пустующий дом на Рижском проспекте — теперь он называется проспект Огородникова.

Что означали в ту пору слова — «пустующий дом»? Это насквозь промерзшие и потрескавшиеся стены, сорванные двери, выбитые рамы и стекла, заросшие льдом полы, перекореженные перила и ступени лестниц, прохудившаяся крыша. Вот таким «тяжелым больным» и был пустующий дом на Рижском проспекте.

Самое первое лечение — это, конечно, отогреть «больного». Неимоверно трудно добиться этого в городе, где на счету каждое полено. Но вот разведка донесла, что обнаружены у набережной затонувшие полуразрушенные плоты. Целыми отрядами приходили сюда путиловцы после работы. Лезли в ледяную воду, добывали бревна и доски, тащили их на берег, пилили, кололи.

А как доставить топливо на место? Подумали и приспособили к делу заводской паровичок с ваго-нетками. Сделали так, чтобы он мог передвигаться по трамвайным рельсам, и ночами возили дрова в будущую школу. Там трудились путиловские плот-ники, печники, слесари, электрики, штукатуры. И, на-конец, явились полотеры. Это значило, что «тяжелый больной» выздоровел.

Вскоре тот же бойкий паровичок повез из центра на прицепленной платформе самый желан-ный груз: рояль, пианино, духовые и струнные инст-рументы, пюпитры, альбомы с нотами и большой нарядный барабан с кистями.

А на улице уже была весна — первая весна мо-лодой Советской республики.

* * *

Июльским днем тысяча девятьсот двадцатого года собственный школьный оркестр путиловских рабочих встречал Ленина, приехавшего в Петроград на открытие конгресса Коминтерна.

Собственный оркестр маленьких путиловцев!

Владимир Ильич задержался на платформе возле музыкантов, протянул дирижеру свой тяже-лый пышный букет и широко провел рукой, как бы желая сказать: «Это на всех!»

Будь у него побольше времени, он бы, наверно, поговорил с путиловскими ребятами, но его всюду ждали — и на площади перед вокзалом, и в Смоль-ном, и в Таврическом дворце, и на Марсовом поле.

Приветственно помахав оркестру, он пошел дальше, а вслед ему катились упругие волны гром-кого веселого марша.



У К О С Т Р А

Даже для тогдашних крутых зим последняя треть января двадцать четвертого года была необыкновенно суровой. Неподвижный заолодевший воздух обжигал горло, как глоток спирта. На бульварах жалобно поскрипывали окоченевшие деревья. А людская река молчаливо и безостановочно текла в рас-

крытые двери Дома Союзов — день и ночь, день и ночь. К людям подходили медицинские сестры с чемоданчиками, заглядывали в лица, не обморозился ли кто-нибудь. На улицах пылали костры.

В те дни был замечен многими старик в скорбившемся овчинном кожухе, в суконном буденовском шлеме, в тяжелых охотничьих сапогах. Красноармейцы, наблюдавшие за порядком и уже успевшие смениться по нескольку раз, запомнили его. Долгими часами двигался он вместе с траурной колонной и, пройдя через зал, становился снова в ее конец.

— Дедушка, иди погрейся! — крикнули ему, когда он, уже в который раз, проходил мимо костра на площади. Старик медленно подошел. Лохматые брови его, усы, борода заиндевели.

— Ты, дедушка, вроде бы и вчера тут был? — спросил красноармеец, совавший в огонь каменные от мороза рукавицы.

— Был! Третий день тут...

— А сам откуда?

— С Брянской губернии... — и, помолчав, добавил: — Проститься приехал!.. Являюсь знакомым Ильичу Ленину. — Он сурово оглядел стоявших у костра. — Что, не верите? Не такие дни нынче... не для кривды...

И вот что слышали от него люди.

— В двадцатом году наши брянские мужики хотели обосновать общественную мельницу, а тамошняя власть не позволяла. Порешили тогда послать ходока в Москву, выбрали меня на это дело. Хотя я и малой грамотности, но разбираюсь и есть где прислониться в Москве — у меня на московском заводе один родственник паренек.

Думалось тогда, что Москва не замедлит с нашим крестьянским делом, но вышло по-другому. Измерил Москву из конца в конец, побывал и в Наркомземе, и в Наркомтруде, и в Наркомпроде, и в разных комиссиях с подкомиссиями — и везде одно: «Подавайте заявление. Пойдет своим чередом. Дело государственное. Сразу не делается!»

А зима вроде нынешней, не сиротская. Валяные сапоги худые, изорвались по этой ходьбе, остался чуть ли не босой. В лавке обуви не купишь, хотя бы и средства были: лавки-то закрытые! . . . Между прочим, встретился мне один человек и дает совет: «Вы на ихних же порогах пообивали вашу обувь, пускай дают другую!» Озадачил он меня, смутил. «А вдруг, — думаю, — и верно, войдут в положение!» Заикнулся про это в Наркомземе. Там женщина сидела на приемке: «Это, — сообщает, — не по нашей системе. Вам надо в главную кожу».

Пошел в главную кожу. Оттуда меня в соцобес. Действительно, в соцобесе меня послушали как следует быть. «Допускаем, — говорят, — что все это так и есть, но, независимо, не можем вам оказать помощи». Что же, все — так все! На нет и суда нет! А уж на исходе вторая неделя. Опасаюсь, как бы не заболеть. У родственника моего, у паренька, горница с богом не спорится — одинаковая погода. Он с утра до позднего времени на заводе. К ночи затопим буржуйку чем придется, вскипятим чайник — и на боковую. А утром изморозь на стенах. Да это все ничего! Мне бы толку добиться! . . .

Как-то паренек приходит с завода и объявляет: «У нас завтра собрание. Говорят, сам Ленин будет

участвовать. Надо бы потолковать тебе с ним по крестьянскому вопросу!» Я тогда чуть ли не посмеялся, скажу на откровенность! С такими-то делами к такому лицу! А паренек мне дает разъяснение: «Тут никакого смеху нет! У нас теперь другая сущность жизни, но ты, батя, еще не достиг ее, как старое поколение. Завтра возьму тебя с собой. К Ленину обращайся смело...»

На другой день пошли с ним на завод. В нутро меня не пустили. Хожу по пустырику, дожидаясь. И как-то не доверяю, чтобы приехал сюда такой человек. А он приехал. Мне-то его не пришлось увидеть. Сразу окружили машину, и все пошли в ворота. Часа через полтора народ выходит обратно. У меня сердце зашлось, не могу сойти с места. А медлить нельзя. Пропустил минутку — и делу конец! Тогда решился. Хотя и не видел портретов, но сразу понимаю: вот он — Ленин! Идет свободно, без поспешности, разговаривает на ходу.

Я ему навстречу. Снял шапку, поклонился, говорю громким голосом: «Прошу вашего прощения, любезный деятель, разрешите прямо к вам обратиться с крестьянской нуждой?» Он остановился: «Что вы, что вы! Зачем вы шапку сняли? Наденьте, наденьте, сейчас не лето... Вы о чем мне хотите сказать?»

Бумаги у меня наготове. Пообтrepались, да что же делать? Он их принял. «Но тут, — говорит, — неловко разбираться, пойдемте в эту будку, что ли?» Там находилась будка неподалеку. Накурено, дымно, сидеть негде, только один некрашенный стол. Ленин положил на него бумаги, читает не торопясь, разбирает ихние резолюции, и слышно,

как он выговаривает вслух: «Ах, канительщики! Ах, волокитчики! Судить будем за волокиту!» Обернулся к людям — их много набилось в будку: «Вот, пожалуйста, крестьяне хотят открыть общественную мельницу, а совбюрократы становятся поперек!» Написал на уголке свое решение и обращается ко мне. Слова его я передаю доподлинно, как было сказано: «Вы, — говорит, — товарищ, напрасно извиняетесь! Мы обязаны входить в каждое дело... А ваше дело правильное!»

После того повел со мной беседу: на много ль обесхудобилась деревня, сколь велик озимый клин. Я ему отвечал спокойно, ибо я понял, каков человек Ленин. И вошел в такую смелость, что сказал про обувь. Конечно, и в мыслях не держал, чтобы просить, а объяснился, как ее истоптал. Тут некоторые лица стали вроде бы посмеиваться. Ленин ничего не сказал, поглядел мне на ноги, взял листочек и — вот написанное его рукою...

Старик снял домотканые варежки, расстегнул кожух негнушимися пальцами. С великой бережностью вынул из матерчатого кошелька бумажный листок, протянул его своему соседу-красноармейцу. Листок медленно передавали из рук в руки.

За четыре года карандашные буквы на листке поистерлись и с трудом можно было разобрать:

*«В упр. д. Т-щи!
Надо устроить ему
сапоги.*

В. Л е н и н».

— Вот... еще не износил! — сказал старик, и все молча посмотрели на его тяжелые, добротные сапоги.



Когда бумажка вернулась к старику, он с той же осторожностью убрал ее в матерчатый кошелек. Поглядел на нескончаемые людские колонны, втекавшие на площадь со всех сторон, и сказал:

— Не тот есть человек, от кого плачут, а тот, по ком плачут! . .

Эта ленинская записка не сохранилась в подлиннике. Неизвестным остался и тот, кому она была предназначена. Но люди у костра ее видели, держали в руках, и в те же январские дни в «Правде» было рассказано о «знакомом Ленина» и напечатаны коротенькие, волнующие строчки, написанные Владимиром Ильичем в тесной, прокуренной заводской будке.



ПОПРАВКА К РИСУНКУ

В мастерской народного художника висит на стене акварельный рисунок: «Ленин на субботнике в Кремле. Май 1920 года».

Подставив плечо под тяжеленный кряж, Владимир Ильич несет его вместе с другими, крепко придерживая рукой дубовую махину. Он в своей

неизменной кепке, в рабочей куртке, в солдатских защитных брюках и грубых ботинках. Виден кусок кремлевского двора, каким он был в те годы, фигуры работающих. На высоком древке, воткнутом прямо в землю, плещется красный флаг.

Художник рассказывает:

— С этим рисунком у меня связана одна удивительная история. Нет, не ждите от моего рассказа каких-то необычайных приключений. Их не будет! История эта, в сущности, очень простая и вместе с тем она волнующе необыкновенная.

Давно уже хотелось мне нарисовать Владимира Ильича на кремлевском субботнике. Тема эта трудная, требующая основательной подготовки. Она захватила все мои помыслы на долгое время. Я днями просиживал в библиотеках, архивах, читал воспоминания, разыскивал документы, фотографии, относящиеся к тому далекому Первомаю. Но самое главное, в чем мне посчастливилось, — это встречи с его живыми участниками.

Я встречался с бывшими курсантами Кремлевской школы — теперь уже пожилыми людьми. Они подолгу ходили со мной по Кремлю, показывали и рассказывали, и я подбирал драгоценные камешки-самоцветы, которые сохранила их память.

Вот здесь, на Ивановской площади, неподалеку от Царь-колокола, построились курсанты перед выходом на субботник. А вот с этой стороны как-то незаметно подошел Ленин в рабочей одежде и попросил комиссара школы показать ему, где встать. Комиссар поставил Ильича на правый фланг. Вот тут он стоял, почти рядом с Царь-пушкой. Заиграл оркестр, колонна зашагала к месту работы.

Еще виднелись на территории Кремля следы Октябрьских боев с юнкерами: разбитые повозки и орудия, воронки от снарядов, доски от разобраных баррикад. Повсюду — кучи слежавшегося щебня, битый кирпич, камни, остатки разрушенных строений.

Работы было много, очень много. И Ленин работал не покладая рук. Носил бревна, доски, разбивал киркой каменно-плотный щебень. Спорил, когда ему потихоньку «подсовывали» более тонкий конец доски: «Нет, товарищи, так не пойдет! Давайте по справедливости».

Так работал он час, другой, как будто не зная усталости. Ему говорили: «Владимир Ильич, мы и без вас управимся, у вас имеются дела поважнее!» А он отвечал: «Сегодня самое важное — работать на субботнике. Я тоже житель Кремля, меня это касается, как и всех вас!»

Первомайский рабочий день Ленина окончился на двадцать минут раньше, чем у других. Пришли из Совнаркома, напомнили, что уже время ехать на открытие памятника Освобожденному Трудю. Владимир Ильич попросил у командира разрешения удалиться...

Я жадно впитывал в себя все, что видел, слышал, читал. Альбом, который всюду бывал со мной, распух от беглых набросков, предварительных зарисовок. Далекий день субботника становился как будто моим личным воспоминанием. Я уже мысленно видел будущий рисунок, что называется, «созрел» для того, чтобы начать работу над ним.

Был ли я доволен, когда закончил его? Скажу прямо — да! Мне казалось, что я сумел изобразить

Ленина, каким он был тогда — самозабвенно работающим.

У меня был друг, тоже художник. Я знал, что у него верный и строгий вкус, что он всегда прямо, без обиняков высказывает свои суждения.

— Знаешь, хорошо! — сказал он, придирчиво долго рассматривая мой рисунок. — Хорошо передано ощущение праздничности труда... И Ленин на рисунке очень похож, но... — Он сделал короткую паузу. — Есть у меня и «но». Очень уж тяжелое бревно несут Ильич и его напарники. Какое-то оно преувеличенно огромное...

— Не думаю, чтобы я что-нибудь преувеличил и в чем-либо отошел от истины, — ответил я ему. — Известно, что Ленин участвовал в переноске таких кряжей, которые с трудом поднимали шесть человек. Пока их несли, по несколько раз останавливались, чтобы перевести дух...

Но друг как будто не слышал меня.

— Разве ты не видишь, как оно давит ему плечо? Это же немыслимая тяжесть! Я бы на твоём месте сделал как-то так, чтобы оно не выглядело таким тяжелым. Сделай его потоньше, что ли? Или покороче. А может быть, и то и другое...

Как говорится, со стороны виднее, а в особенности глазу художника.

Я «пообтесал» бревно, «отпилил» по куску с концов.

— Нет! — сказал мой друг, когда я показал ему исправленный рисунок. — Нет и нет! Бревно как будто поубавилось в весе, но все равно Владимиру Ильичу очень тяжело. Смотри, как у него напряжены плечо, шея, рука. Пожалуй, следовало бы как-



то изменить их положение, ослабить впечатление этой давящей тяжести.

Поправка к рисунку становилась все более требовательной и серьезной. Я решил послушать, что скажут другие — не художники, а просто зрители. Те, для которых и был, собственно, сделан этот рисунок. Взял свой «Субботник» и отправился домой.

Жил я тогда в коммунальной квартире, и были у меня соседи — очень милая семья, состоявшая из бабушки-хлопотуньи, ее дочери, работавшей медицинской сестрой, и Кости — ученика четвертого класса. Налицо, так сказать, представители трех поколений — старшего, среднего и младшего.

Я пригласил их к себе и устроил «общественный просмотр».

— Если бы я был на том субботнике, — сказал Костя, — я бы ни за что не дал Ленину носить бревна. Я бы сам их перетаскал!

— Да, очень уж они громоздкие, — сказала его мама, — не надо бы ему подымать такие тяжести. . .

— Люди-то куда смотрели? — сказала бабушка. — Вон их сколько вокруг да около. . . Как же это они позволили? Хотя бы уговорили, что полегче, носить. . . — Она укоризненно покачала головой. — И долго Ильич работал?

— Весь день! Ушел за двадцать минут до конца — позвали по делу.

— И не отдыхал?

— Устраивались короткие передышки. Посидят минутку-другую — и опять за работу.

— Вот ты и нарисуй, как Ленин отдыхает, — сказала мне бабушка, — так оно и будет правильно!

«Ага, что?! — слышался мне голос друга-худож-

ника. — Что говорят «просто зрители»? Вносят ту же поправку в рисунок, что и я! И сотни других скажут тебе то же самое! Это голос народа!»

Да, такой поправки я не мог предвидеть. Только Ленин мог вызвать ее к жизни и больше никто! В ней с изумительной яркостью выразилась вся глубина народной любви к Ленину — любви, ненавязанной, искренней, глубокой, ставшей как бы чертой характера у сотен миллионов.

Вот я взял «пробу» с этих миллионов. Они одобрили мою работу, но... но сердце их не может принять, примириться с тем, что Ленину тяжело. Им тяжело видеть и сознавать, что они не могут ничем помочь. И они требуют от меня, чтобы ему было легче.

И я должен был принять эту поправку к рисунку. Повесил его пока что на стенку. Там увидим! А сам взялся и нарисовал другой: «Короткая передышка».

Курсанты, с которыми работал Ленин на субботнике, присели отдохнуть. Лица усталые и счастливые. Среди них — Владимир Ильич. Кепка низко надвинута на лоб, глаза улыбочиво щурятся от яркого света.

Когда я показал новый рисунок своим первым зрителям, они шумно обрадовались, точно я исправил какую-то недопустимую ошибку.

Сейчас рисунок на выставке. Частенько я захожу туда, незаметно приглядываюсь к посетителям и всегда вижу, как у них теплеют глаза, когда они стоят перед «Короткой передышкой»...



ДАЛЕКИЕ ДНИ

Еще повсюду видны были следы недавней боевой тревоги. Еще окна многих домов были забиты мешками с песком, с бойницами, проделанными для винтовок и пулеметов; еще попадались на улицах баррикады и не везде убрали колючую проволоку.

Но война уже откатилась от стен Петрограда далеко на запад, к польской границе. Уже выбиты были главные козыри белогвардейщины — Колчак, Деникин, Юденич.

Это была первая весна, когда враг не угрожал Петрограду, — весна 1920 года. Это была третья весна молодой Советской республики.

И эту весну Республика встретила всероссийским субботником — повсюду, где реял красный флаг.

Марсово поле стало площадью Жертв Революции. Недавно здесь воздвигли памятник — суровые гранитные плиты с торжественными надписями. Но вокруг памятника, как и раньше, оставалось безликое песчаное поле.

И вот ранним первомайским утром сюда пришли питерцы: рабочие, работницы, ученые, служащие, хозяйки, школьники. Разбились на звенья, шумно разобрали кирки, ломы, лопаты, и зазвенела под дружными ударами кремнево-упорная земля.

Тысячи рук дробили вековой пласт слежавшегося песка, выкидывали булыжники, битый кирпич и складывали на грузовики. Десятки других грузовиков подвозили землю, куски дерна и золотистый песок.

Старший нашего звена, кузнец с путиловского, с отвислыми моржовыми усами, иногда останавливал кого-нибудь из нас, отбирал лопату, и говорил:

— А ну-ка малыш, сядь на чем стоишь, а я выброшу за тебя пару лопаток...

Было невероятно жарко. С Невы ведрами таскали воду, пили, освежали разгоряченные лица.

— Эх, и хороша же невская водичка, — говорил кузнец, окуная усы в ковш, — лучше ее не сыщешь нигде. Уж я-то знаю — изъездил всю Россию...

Двенадцать часов. Привезли полдник — забота Петросовета. Все едят медленно, стараясь растянуть немудрящий завтрак: кусочек темного сырого хлеба с горкой овощного повидла. Люди отдыхают. То тут, то там запевают песни. Песни военные, те, что сложились в грозные годы революции: «Слышишь, рабочий», «Смело мы в бой пойдем». И поют так, как будто шагают в строю.

А возле гранитной плиты человек в солдатской фуражке с алой звездой, сжимая в руке лопату, точно оружие, бросает в притихшую толпу:

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен над нами.
Никогда, никогда,
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами.

После перерыва начинаются самые волнующие часы Первомайского субботника. Верхний пласт старого Марсова поля снят целиком. Скоро оно примет на себя новый покров — черную влажную землю; ее доставили с питерских окраин.

В тачках землю развозят по участкам, раскидывают, ровняют. Садовники показывают, как сажать цветы и деревья, разбивать клумбы, укладывать дерн, насыпать дорожки. Каждый старается запомнить то место, где своими руками посадил дерево.

День незаметно переходит в белый прозрачный вечер. Марсово поле неузнаваемо. Уже не верится, что утром здесь была пустая песчаная площадь. И кажется, что давно уже растут здесь эти молодые зеленые тополя и кусты сирени и празднично-яркие цветы на газонах и клумбах.

* * *

В тот день солнце было еще щедрее и жарче — июльское. Оно плавилось в серебре и меди оркестров, выхватывало из людских потоков красные козынки, знамена, флаги.

И мы, школьники первой ступени, как называли тогда младшие классы, тоже движемся с одним из этих потоков на прицепленной к трамваю площадке. В руках у нас букеты пахучих темно-вишневых гвоздик.

Вожатый трамвая трезвонит непрерывно, но скорость продвижения от этого не увеличивается. Нас обтекают колонны демонстрантов, нам улыбаются, машут руками.

Наконец мы приближаемся к площади перед Смольным. Распорядители с широкими красными лентами через плечо принимают колонны, указывают, где занять место.

К нам подходит человек в кожанке — он тут, наверно, самый главный — даже на фуражке у него красная лента — и озабоченно смотрит на нас.

— Товарищи дети! Сейчас выяснится, где вам стоять. Беру с вас обещание пока что не баловаться.

Он так сказал: «пока что». Мы дружно даем обещание. А вокруг на огромной площади, ставшей

тесной, до удивления быстро устанавливается порядок. В людской толще возникает длинный и широкий проход. По сторонам его шеренгами выстраивают школьников с флажками, букетами цветов. Вторая шеренга — красноармейцы, краснофлотцы. А за ними — народ Петрограда. Почти все знамена самодельные. Есть и с печатными, есть и с прописными буквами, с неровной строкой; первые знамена революции.

От деревянных разукрашенных арок до самого здания растянулись оркестры. Нестройно пробуют голоса трубы, врываясь в шумное многоголосье. Кажется, что празднично звенит сам воздух.

Площадь кипит, волнуется, ждет, и чаще других слышно короткое, звонкое, одинаково звучащее на всех языках слово «Ленин».

Все знают, что сейчас он там, в Смольном, на торжественном открытии Второго конгресса Коммунистического Интернационала. После открытия делегаты направляются в Таврический дворец, и все нетерпеливо ждут этой минуты.

Небо над площадью вдруг темнеет. Вероятно, только в нашем городе случаются такие скоропостижные происшествия: только что сияла безмятежная голубизна, и вот уже все небесное пространство захватили серые лохматые тучи.

Лишь одно голубое окошечко еще держалось некоторое время; в него сунулся лучик, как робкий проситель, но окошечко закрылось, и на головы упали первые капли дождя. Что ж, если покапает и пройдет,— это даже хорошо. Но если зарядит всерьез и надолго...

И, словно понимая, что такой день бывает раз



в жизни и что его нельзя омрачать, тучи убираются с небес так же быстро, как появились. Снова победительно светит большое горячее солнце.

Много было волнующего, незабываемо яркого в тот далекий день, но всем, кто был тогда здесь, почему-то запомнился этот короткий июльский дождь...

Неожиданно, разом заставив всех повернуться, у ступеней Смольного грянули трубы, и музыка, точно пламя, стала перекидываться от оркестра к оркестру. Вначале взгляд ничего не различает в отсветах красных полотнищ, в трепетании солнечных бликов, потом становится видно, как проходят сквозь первую арку люди.

Среди них резко выделяются халаты необычайных расцветок, ослепительно белые чалмы, бурнусы, темные, шафранные, оливковые лица делегатов Африки и Востока.

А Ленин?

Невысокий человек в кепке, в скромном пиджаке, с алым бантом в петлице идет по свободному проходу рядом с бронзовым арабом в развевающейся одежде. Тысячи жадных, восторженных взглядов скрещиваются на нем, летят цветы, листовки, гул приветствий заглушает оркестры.

Невероятно близко, совсем рядом, проходит мимо нас настоящий, живой Ильич. Он шурится, улыбается, иногда как будто замедляет шаг.

Дождем сыплются красные гвоздички. Они были у нас наготове. Одна гвоздичка повисает у Ильича на воротнике. Он бережно снимает ее, несет в руке. А вслед катятся упругие волны медной музыки.

* * *

Хорошо в такой день быть маленьким школьником. Всюду пропускают и дают дорогу, приподымают за локти, ласково проталкивают вперед.

Демонстрация еще только вливается на Марсово поле, а мы уже расположились неподалеку от памятника. Тут же находится сводный оркестр-гигант. По какой-то невидимой команде он приходит в движение. Траурный марш рокошет над площадью Жертв Революции, и единым движением тысячи рук обнажают головы.

Там, за гранитными плитами, Ленин и делегаты конгресса возлагают венки на могилы павших борцов. Оркестр вдруг замолкает, сверкающие трубы точно набирают воздух. Подымаясь, вырастая, все заполняя вокруг, гремит «Интернационал».

Взгляды прикованы к памятнику. Ждут появления Ленина. Но как не подходит к нему это слово! Он не появляется, а выходит вместе со всеми, затерявшись в толпе делегатов. В руке у него кепка — снял, когда исполняли траурный марш. Он внимательно оглядывает новое Марсово поле, что-то говорит окружающим, потом быстрым, почти мальчишеским движеньем набрасывает кепку на голову, чтобы защититься от косых лучей заходящего солнца...

СОДЕРЖАНИЕ

Впечатление сегодняшнего дня	5
Река и песня	15
Слово	25
Гребни вперед	30
Пассажир с проходным свидетельством	42
В далеком краю	53
История с географией	62
Не забыл	72
Крепкая подпись	81
Рождественские каникулы	92
Новый год	102
Как поют «Интернационал» в России	118
По дороге в Москву	125
Небольшое дело	143
Незаряженная кассета	151
Секретарь наркома	162

Дипломатическое поручение	175
Зимний день	184
Делегат с Урала	198
Собственный оркестр	222
У костра	232
Поправка к рисунку	239
Далекие дни	246

Д Л Я С Р Е Д Н Е Г О В О З Р А С Т А

Радищев Леонид Николаевич

Н А В С Ю Ж И З Н Ь

Ответственный редактор
А. М. Вьюссина

Консультант по художественному
оформлению
Н. Д. Волозов

Художественный редактор
В. В. Кузряков

Технический редактор
Л. Б. Кузрякова

Корректоры
Л. К. Мелляко и
К. Д. Номикова

Подписано к набору 29/V 1969 г.
Подписано к печати 25/XI 1969 г.
Формат 70×90¹/₁₆. Бум. № 1. Печ.
л. 16. Усл. печ. л. 18,72. Уч.-изд. л.
10,93. Тираж 50 000 экз. ТИ 1970 г.
№ 468. Ш-61565. Ленинградское от-
деление ордена Трудового Красного
Знамени издательства „Детская ли-
тература“ Комитета по печати при
Совете Министров РСФСР. Ленинград.
Д-187, наб. Кутузова, 6.
Фабрика „Детская книга“ № 2 Рос-
главополиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР. Ленин-
град, 2-я Советская, 7.
Заказ № 577. Цена 1 р. 17 к.

LENIN

لينين ۵۷۳

列宁 ୧୫୪୯

LÊ-NIN

लैनिन

লেنین

LÉNINE

1870

1970